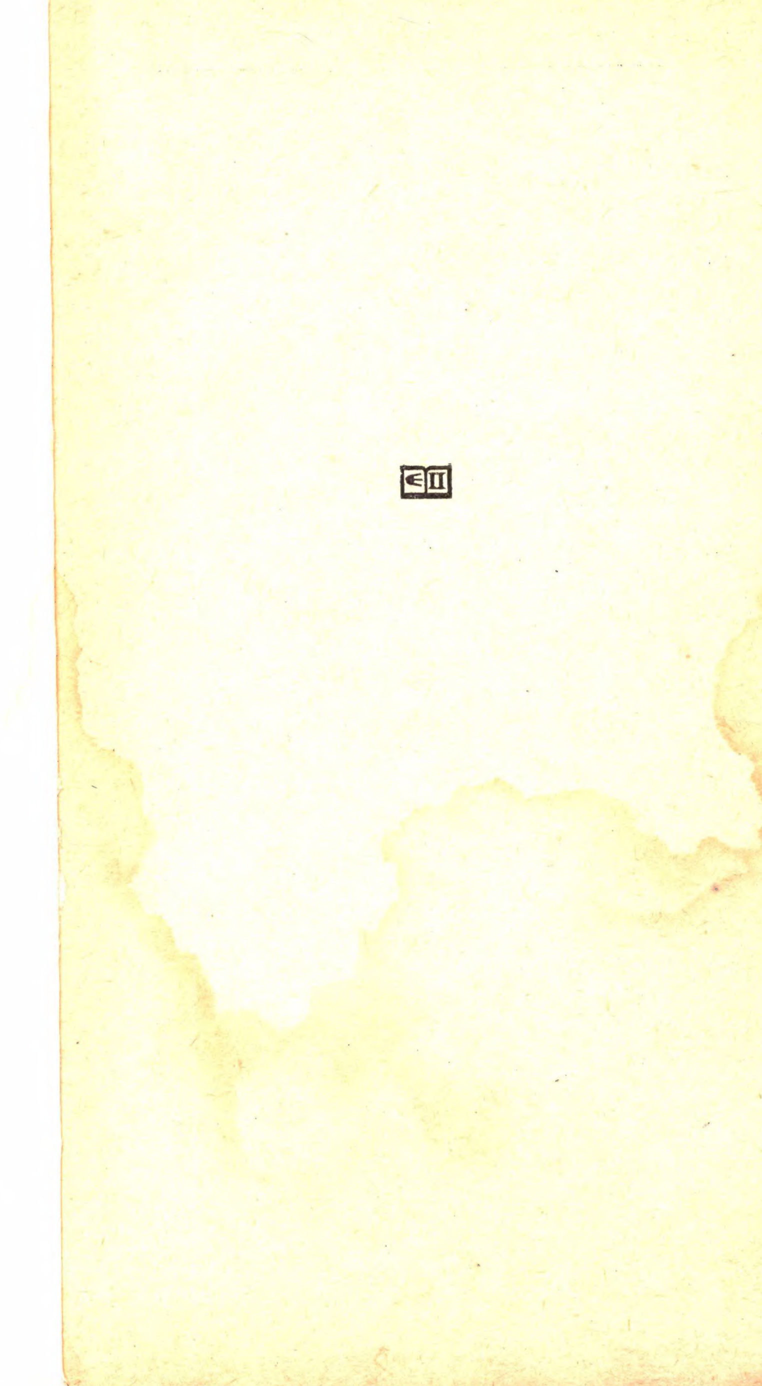
МЕМОРИАЛ

Г. Вайзенборн



Günter Weisenborn

Memorial

Гюнтер Вайзенборн

МЕМОРИАЛ

Перевод с немецкого
Вс. Розанова

Издательство «Прогресс»
Москва 1973

Предисловие *А. Дымшица*
Редактор *И. Млечина*

7-3-4
106—73

ОБ АВТОРЕ И КНИГЕ

Случилось так, что этот мемуарный роман я прочитал впервые, когда работал в Берлине и часто встречался с Гюнтером Вайзенборном. У нас были добрые, можно сказать дружеские отношения. И Вайзенборн дал мне почитать корректуры своей будущей книги.

— Ну как? — спросил он, зайдя за корректурами.

— Это очень сильная, интересная, значительная книга,— сказал я. И поблагодарил Вайзенборна от всей души.

Тогда «Мемориал» представлялся мне прежде всего сильнейшим человеческим документом, ценным историческим свидетельством. Взволнованный непосредственным впечатлением от содержания книги, я, кажется, позабыл сказать Гюнтеру Вайзенборну, что «Мемориал» написан с большим мастерством, что в нем неотступно ощущаются сердце и рука художника.

И вот снова я читаю это талантливое произведение исповедальной прозы писателя-антифашиста, участника немецкого подпольного Сопротивления гитлеризму. Читаю и вновь переживаю это обжигающее душу повествование. Читаю и думаю об его авторе, который был мужественным общественным деятелем и ярким человеком искусства, бойцом и художником слова.

Читаю «Мемориал» и думаю о Вайзенборне, о замечательных героях этой книги, о том, как она написана. Читаю, и возникают в памяти факты, которыми следует прокомментировать советское

издание «Мемориала», рождаются мысли, которыми хочется поделиться с читателями.

* * *

Итак, прежде всего о том, кем создана эта книга — о Гюнтере Вайзенборне.

Он родился в 1902 году в Фельберте. Отец его был коммерсантом. С 1922 года (после окончания средней школы) до 1927 года Вайзенборн изучал филологию, медицину и философию в университетах Кёльна, Бонна и Берлина (годы учебы запечатлелись в ряде записей «Мемориала» вместе с образами его наставников, среди которых Вайзенборн особо чтил известного литературоведа — боннского профессора Оскара Вальцеля, впоследствии погибшего в фашистском концлагере).

С 1928 года началась литературная биография Гюнтера Вайзенборна. В театре «Фольксбюне» («Народная сцена») в Берлине была поставлена и прошла с успехом пьеса молодого драматурга «Подводная лодка С-4» — антимилитаристская трагедия, в которой история гибели шести матросов-подводников комментировалась на экране, установленном в глубине сцены и в броских кадрах обнажавшем лицо империалистических преступников, игравших жизнями простых людей. Обратившись к драматургии, к театру, Вайзенборн сошелся с видными деятелями сцены — с режиссерами Эрвином Пискатором и Юргеном Фелингом, с актером Генрихом Георге. Пресса приветствовала его как восходящее дарование.

В 1930 году молодой писатель уехал в Аргентину, работал на ферме и вскоре вернулся на родину.

Шли тревожные годы и месяцы предфашистской поры. Было время напряженной борьбы между силами демократии, возглавленными коммунистами, и яростно атаковавшими их гитлеровцами. В эту пору Гюнтер Вайзенборн проявил себя как антифашист, как демократ.

В 1931 году вышли в свет две новые работы Вайзенборна. Он выступил соавтором Бертольта

Брехта в пьесе «Мать», созданной по мотивам знаменитого одноименного романа Горького; написал песни для фильма «Ничейная земля», сделанного по либретто писателя-демократа Леонгарда Франка. Обе работы утвердили прогрессивную общественную репутацию Вайзенборна. «Мать» стала крупнейшим событием в развитии немецкого революционного театра, «Ничейная земля» была отчетливо антимилитаристской лентой.

С 1933 года, когда власть в Германии на годы захватили гитлеровцы, положение Гюнтера Вайзенборна стало весьма сложным. Писатель остался в Германии, но был явно враждебен той обстановке, которую насаждали фашисты,— он находился в духовной оппозиции к нацистскому режиму. В 1935 году ему удалось выпустить книгу «Девушка из Фанё», любовный роман, поэтизирующий нравы простых тружеников, детей природы. Тогда же вышла на сцену пьеса Вайзенборна «Нойберша», запечатлевшая романтический образ знаменитой немецкой артистки XVIII века Каролины Нойбер, боровшейся за освобождение театра от уз классицистических условностей. Эту пьесу он мог выпустить, скрывшись под псевдонимом.

Однако Гюнтер Вайзенборн отлично понимал, что интеллигенту-демократу невозможно продержаться в гитлеровской Германии на позициях нейтралитета. Он стал искать возможностей перехода от пассивного сопротивления к Сопротивлению активному. В 1937 году он выехал за границу, в Соединенные Штаты Америки, надеясь повести оттуда открытую борьбу против немецкого фашизма. Но в США он не встретил поддержки. В конце того же года он вернулся в Берлин и стал искать контактов с антифашистским подпольем.

Через некоторое время такие контакты были налажены. Гюнтер Вайзенборн вступил в подпольную организацию, возглавлявшуюся выдающимся ученым-экономистом, доктором Арвидом Харнаком и молодым литератором и журналистом, в ту пору обер-лейтенантом авиации Харро Шульце-Бойзеном. Группа Харнака — Шульце-Бойзена, известная в истории немецкого антифашистского

Сопротивления под названием «Красная капелла», объединяла многих мужественных бойцов против гитлеризма,— в ней ведущую роль играли коммунисты, представители идеологической гвардии немецкого рабочего класса, стремившиеся объединить в единый фронт все демократические антифашистские силы.

Более трех лет действовал Гюнтер Вайзенборн в рядах «Красной капеллы», выполняя разнообразные задания ее руководителей. Он расклеивал в ночном Берлине антифашистские листовки и плакаты, участвовал в приеме и распространении известий антифашистских радиостанций. По указанию руководства «Красной капеллы» он пошел работать на берлинское радио и сумел (как о том рассказано в «Мемориале») незаметной правкой информации разоблачить перед слушателями и мировой общественностью лживую геббельсовскую пропаганду.

При разгроме «Красной капеллы» гестаповцами Гюнтер Вайзенборн был арестован. Его судили и приговорили к смертной казни, замененной затем заключением в тюрьме Лукау. Вслед за ним была арестована гестаповцами и его молодая жена — Джой Вайзенборн, также участница Сопротивления фашизму. Супруги Вайзенборн, пройдя через ад гитлеровских застенков, встретились вновь весной 1945 года, когда войска Советской Армии, громя гитлеровцев, освобождали пленников из заключения.

В ту историческую весну Гюнтер Вайзенборн пробыл некоторое время в должности сельского бургомистра, затем вернулся в Берлин и вместе с выдающимся режиссером Карлхейнцем Мартином создал Театр имени Геббеля, в котором был некоторое время заведующим литературной частью.

Именно в ту пору, весной — летом 45-го, я познакомился с Гюнтером и Джой Вайзенборн. Помню их домик в районе Вильмерсдорф, маленький сад, Гюнтера за работой, его Джойкен в заботах и хлопотах. Хорошо запомнилась мне премьера первой послевоенной пьесы Вайзенборна — «Подпольщики», посвященной памяти героев «Красной ка-

пеллы» и запечатлевшей некоторые характерные черты суровой будничной работы бойцов Сопротивления, помню Гюнтера Вайзенборна на трибунах послевоенных антифашистских собраний, митингов, конгрессов, съездов немецкой творческой интеллигенции, его речи, проникнутые горечью пережитого и радостью участия в строительстве новой, демократической Германии. Помню первые номера сатирического журнала «Уленшпигель», который Гюнтер Вайзенборн издавал вместе с талантливым художником-коммунистом, недавним узником Бухенвальда — Гербертом Зандбергом, помню и рукописи его пьес и стихов, с которыми он меня знакомил, желая узнать мнение советского товарища, советского читателя.

Около четырех послевоенных лет длились наши встречи с Вайзенборном, потом я уехал на родину и следил за творчеством этого писателя по тем книгам, которые он мне присылал. Я прочитал его новые пьесы — «Баллада об Ойленшпигеле...» (1949), «Лофтер, или Потерянное лицо» (1956), «Луиза Лей» (1956), «Семья из Невады» (1958). Прочитал его прозу — роман «Построено на песке» (1956) и другие произведения, его драматическую поэму «Геттингенская кантата» (1958), его мемуарную книгу «Разделенный горизонт» (1965).

В 1968 году в Берлине на «Диалоге о Брехте» судьба еще раз свела меня с Вайзенборном. По вечерам после заседаний мы много и долго беседовали, многое вспоминали. Я рад был услышать и о творческих планах писателя, о его намерении вновь посетить Москву (впервые в нашей столице он побывал в апреле — мае 1948 года в составе первой немецкой писательской делегации, тогда он написал интересные очерки о своих московских впечатлениях). Вайзенборн, который в пятидесятых и шестидесятых годах жил в Западной Германии и в Западном Берлине, рассказал мне о своей упорной борьбе против реакционеров, против пронацистов и неонацистов. Об этой борьбе говорили и ранее прочитанные мною произведения Вайзенборна, его социально-критические романы, его антифашистская публицистика.

Гюнтер Вайзенборн не был сложившимся мыслителем-марксистом, его представления о марксизме были далеки от систематичности, стройности, совершенства, но он был и оставался верным рыцарем антифашистской борьбы, союзником немецких социалистов, создателей первого немецкого социалистического государства — ГДР, он был убежденным и стойким демократом и антимилитаристом. Таким его знали и любили читатели и зрители в демократических кругах разных стран. Таким его знали и ненавидели идеологи реакции и неонацизма, реакционные фальсификаторы истории немецкого Сопротивления, пропагандисты шовинизма и реваншизма. Таким, убежденным и боевым общественником, оставался он всегда, в своих произведениях, выступлениях, в своей кипучей творческой работе.

В ту нашу берлинскую встречу Гюнтер Вайзенборн впервые пожаловался на нездоровье. Он сказал, что болен; из его слов я понял, что дело шло о тяжелой болезни печени (отозвались тюремные годы). Он добавил, что сроки его измерены. Но держался он бодро, мысли его были захвачены интересами жизни, борьбы. И вскоре он отправился в поездку туда, где чувствовал себя моложе,— в Москву. Наша последняя мимолетная встреча с Гюнтером и Джой была в Москве; я приехал из командировки в тот самый день, когда Вайзенборны уезжали домой, и мы успели втроем пробежаться по улице Воровского, поговорить накоротке. Больше я Гюнтера Вайзенборна не видел,— из газет я узнал о его кончине.

Вайзенборн любил нашу страну, наш народ. Вместе со своими товарищами по борьбе, с бойцами немецкого Сопротивления, он верил в силу Октября, в мощь Советской Армии, армии социалистического народа. И советские люди знали и знают Гюнтера Вайзенборна, ценят его творчество и его боевые дела. Вместе с рядом подпольщиков-антифашистов из «Красной капеллы», вместе с павшими в борьбе и с немногими уцелевшими в тюрьмах товарищами он был награжден высоким боевым советским орденом.

*
* *

«Мемориал» — книга подневных записей, книга-дневник. «Мемориал» Гюнтера Вайзенборна — прежде всего записи о лично пережитом, свидетельства о героях, с которыми жизнь-борьба свела его в общем деле Сопротивления гитлеризму.

Эту книгу нельзя считать историей «Красной капеллы»,— в силу законов революционной конспирации Вайзенборн знал лишь некоторую часть подпольщиков, входивших в боевую организацию, и — соответственно этому — был информирован лишь о части дел, которыми занималась группа Харнака — Шульце-Бойзена. В «Мемориале» нет и подробно выписанных портретов тех героев «Красной капеллы», которых лично знал автор,— это книга, содержащая, однако, выразительные штрихи к их портретам, к их характеристикам.

Думается, что нужно пояснить читателям некоторые имена героев, фигурирующих в мемуарном романе Вайзенборна, порою упоминаемых под инициалами или псевдонимами. История немецкого Сопротивления гитлеризму позволяет это сделать.

Так кто же они, эти герои?

Х.— это Харро *Шульце-Бойзен* (1909—1942), один из главных руководителей «Красной капеллы», до 1933 года — студент юридического факультета, журналист. В годы гитлеризма он вошел в контакт с подпольщиками-коммунистами и выдвинулся в первые ряды организаторов антифашистского подполья. Его положение обер-лейтенанта авиации помогало ему скрывать свою нелегальную деятельность. Арестованный 31 августа 1942 года, он вместе с рядом товарищей и с женой Либертой Шульце-Бойзен был казнен «под рождество», 22 декабря 1942 года.

К., или Курт,— талантливый скульптор Курт *Шумахер* (1905—1942), видный деятель коммунистического антигитлеровского подполья. Занимался распространением антифашистских листовок среди населения и в армии, связал прибывшего из Советского Союза в августе 1942 года коммуниста,

бывшего бойца батальона имени Эрнста Тельмана в Испании Альберта Хёслера с руководителями «Красной капеллы». Арестованный, как и Гюнтер Вайзенборн, в сентябре 1942 года, он был казнен вместе с А. Харнаком, Х. Шульце-Бойзеном и другими товарищами. Вместе с ним погибла и его жена Элизабет Шумахер, также член группы «Красная капелла».

Вальтер, или В.,— Вальтер *Хуземан* (1909—1943), сын старого коммуниста, сам член КПГ с 1928 года, рабочий, корреспондент партийных газет. После 1933 года — подпольщик, один из организаторов нелегальной газеты «Внутренний фронт», в которой сотрудничал вместе с журналистами В. Гуддорфом, Х. Шульце-Бойзеном, писателем Адамом Кукхофом и другими. Впервые был арестован гестапо в 1936 году и заключен на два года в концлагерь Заксенхаузен. Вновь арестованный в сентябре 1942 года как член «Красной капеллы», был казнен 13 мая 1943 года.

Пауль Браун, о котором домогались показаний у Вайзенборна,— Вильгельм *Гуддорф* (1902—1943), член КПГ с 1923 года, выдающийся ученый-филолог, знаток множества европейских и азиатских языков, историк, экономист, искусствовед, человек редчайшей образованности. До 1933 года — активный сотрудник партийной прессы, в годы Сопротивления — организатор подпольной антифашистской печати. В партийных кругах и среди подпольщиков был известен под псевдонимом Пауль Браун. С 1934 по 1939 год находился в тюрьме и концлагере. Затем в «Красной капелле» был официальным представителем нелегальной берлинской организации КПГ. Вместе с доктором Арвидом Харнаком написал исследование «Об экономическом фундаменте нацистской Германии». В подпольной печати обосновывал в соответствии с линией КПГ принципы Национального фронта антигитлеровского Сопротивления. Арестован в октябре 1942 года, казнен 13 мая 1943 года.

Филипп *Шеффер* (1894—1943) — видный ученый-филолог, член КПГ с 1928 года. В 1935 году был арестован за подпольную деятельность и до

1940 года находился в тюрьме. Затем вступил в «Красную капеллу». Весной 1942 года, пытаясь спасти от самоубийства чету евреев, преследовавшихся нацистами, спустился по стене с третьего этажа на второй, но сорвался и получил тяжкие увечья. Был арестован гестапо в сентябре 1942 года, казнен 13 мая 1943 года.

З., «наш главный»,— вероятно, Джон *Зиг* (1903—1942), рабочий-коммунист, член КПГ с 1929 года, активный сотрудник партийной прессы. Деятельный организатор антифашистского подполья, один из руководителей «Красной капеллы». Арестованный в октябре 1942 года, вскоре покончил с собой в здании гестапо, чтобы положить конец пыткам, которым его подвергали.

Хорст *Хайльман* (1923—1942), с 1940 года — студент Берлинского университета, затем переводчик при штабе главного командования гитлеровской армии. С осени 1940 года — в «Красной капелле». Сообщал руководству группы важные данные военного характера. Сотрудничал с Х. Шульце-Бойзеном в составлении труда о причинах двух мировых войн. Казнен вместе с А. Харнаком, Х. Шульце-Бойзеном и другими.

Хельмут *Химпель* (1907—1943) — зубной врач, вместе со своей невестой Марией Тервиль состоял в «Красной капелле». Весной 1942 года распространил листовки, разоблачавшие лживый и клеветнический характер антисоветской выставки, состряпанной геббельсовским министерством пропаганды. В конце 1942 года был арестован, казнен в начале 1943 года. Вслед за ним была казнена Мария Тервиль.

Ион *Риттмайстер* (1898—1943) — выдающийся ученый-психолог и врач-психиатр. С 1933 по 1938 год вел антигитлеровскую пропаганду из Швейцарии, за что был выслан швейцарскими властями. Вернувшись в Берлин, оказывал помощь антифашистам и преследовавшимся нацистами. В 1941 году вступил в «Красную капеллу», распространял антифашистскую литературу, писал листовки. Арестован в сентябре 1942 года, казнен 13 мая 1943 года.

Поэт семнадцати лет — видимо, Отто *Хольнов,* о котором упоминается в одном из предсмертных писем из тюрьмы активистки «Красной капеллы» Като Бонтьес ван Беек. В этом письме Хольнов охарактеризован как человек «полный любви», т. е. исполненный сочувствия ко всем угнетавшимся нацистами.

Г.— возможно, Ион *Грауденц* (1884—1942), журналист, активный пропагандист достижений Советского Союза. Участник подпольного Сопротивления. Арестован в сентябре 1942 года, казнен в декабре 1942 года вместе с А. Харнаком, Х. Шульце-Бойзеном и другими активистами «Красной капеллы».

Студент, насвистывавший в тюрьме песни Брехта — Вайля и Брехта — Эйслера, далее названный Вайзенборном Куртом Штреловом,— Хейнц *Штрелов* (как называет его в своих предсмертных письмах из тюрьмы Като Бонтьес ван Беек), студент-антифашист, вместе с Ионом Грауденцом и Като Бонтьес размножавший и распространявший подпольную революционную литературу. Казнен 13 мая 1943 года.

Таковы были эти люди — герои Сопротивления, ни разу не дрогнувшие под пытками гестаповцев, люди, словно выкованные из благородного металла.

*
* *

Припоминаю один из разговоров с Гюнтером Вайзенборном. Речь шла о его пьесе «Подпольщики», о его книге «Мемориал».

Вайзенборн сказал, что он писал для молодежи и, в сущности, о молодежи, писал для будущей демократической Германии о тех, кто в годы зла и насилия восстал против насилия и зла во имя будущего отчизны. Он особо подчеркивал, что эти люди не знали чувства социального эгоизма.

Эта же мысль о «жизни для других» выражена в одном из афоризмов, в одном из эпиграфов в «Мемориале», где сказано о самоотдаче как основе деятельности, как радости борьбы:

Чем меньше человек ощущает самого себя,
тем он счастливей.
Чем больше он думает о других,
тем меньше он ощущает самого себя.

«Мемориал» — книга, не только насыщенная фактами, событиями, наблюдениями, но и книга, запечатлевшая характерные особенности психологии героев революционной борьбы, их сознательность, убежденность, органичность их подвигов.

Бойцы немецкого Сопротивления гитлеризму — те из них, что уцелели в застенках и концлагерях, что не пали под топором или от пули,— написали ряд отличных книг из истории антифашистской борьбы. Некоторые среди них беллетристичны по манере письма — от сравнительно ранней книги Вернера Эггерата «Только человек» до более поздней — «Солдаты без ружей» Херберта Гуте.

«Мемориал» — одно из наиболее оригинальных произведений такого рода. В этой книге повествование идет в двух планах, словно развертываются параллельно два свитка воспоминаний: один, главный, рассказывает о годах борьбы и испытаний, о времени освобождения и перехода к новой, свободной жизни, а другой — как бы эмоционально сопоставительный — обращен к воспоминаниям прошлого, к детству, отрочеству, юности, к годам учения и странствий, к началу литературно-театрального пути автора, к его пребыванию в Аргентине и Соединенных Штатах Америки, к эпизодам из жизни «третьей империи» (вплоть до остро обличительных зарисовок Гитлера и его клики).

Есть в исповедальном романе Вайзенборна и тема любви: былым, неглубоким и непрочувствованным отношениям с женщинами противопоставлена сильная, горячая, выдержавшая все невзгоды и испытания, любовь Гюнтера к Джой, образ которой, словно луч солнца, освещал сырые и серые стены его камеры. В тюремных письмах к Джой, подписанных инициалом П., жили прекрасные чувства, ставшие любовью-дружбой на всю жизнь.

«Мемориал» — книга честная, искренняя. Ее автор не претендовал на то, чтобы задним числом приукрасить историю своей жизни, он не намеревался «прихорашивать» самого себя,— он исповедовался, он писал правдиво. И мы видим его в книге таким, каким он был: с его исканиями, с его недостатками, с его «непроясненностями» того или иного времени по ряду вопросов общественных, психологических, бытовых. И мы видим, как шел его духовный рост, как укреплялся в нем, управляя мыслями и чувствами, боевой демократизм, как формировался его революционный характер. «Мемориал» Вайзенборна — это сплав жизненной правды и мастерства художника, сплав «документальности» и психологичности, делового повествования с повествованием лирическим, энергии чувства с энергией слова.

*

* *

Когда я впервые читал «Мемориал», эта книга, вышедшая непосредственно из пламени событий и переживаний, вызвала у меня глубокое волнение. И сегодня я читаю ее как хронику событий и переживаний, прошедших через сердце художника, опаленных его горячей мыслью, его пылкими чувствами, израненными, но живыми и сильными. Это волнует и сегодня.

И это рождает надежду, более того — уверенность, что «Мемориал» не оставит равнодушным современного читателя. Книга Гюнтера Вайзенборна учит ненавидеть фашизм и войны, учит любить людей, отважно борющихся за свободу и счастье народов. Она богата жизненным материалом, из которого нельзя не сделать серьезных революционных выводов.

Можно не сомневаться в том, что чистый и сильный голос бойца и художника Вайзенборна, его выстраданное, искреннее слово отзовутся в сердцах читателей.

Александр Дымшиц

НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ ДЛЯ ТЕХ, КТО РОДИТСЯ ПОСЛЕ НАС

Публикуя эти записки, я прежде всего обращаюсь к тем, кто через сто или пятьсот лет, недоуменно качая головой, возьмет в руки книгу о том времени, которое было нашим временем. Жизнь тогда будет весьма отличаться от нашей, но и тогда люди будут голодать, будут и умирать, особенно если им кто-нибудь в этом поможет, преподнеся немного строфантина или выстрелив в затылок; родившиеся после нас испытают и радости любви, как испытывали их мы; не чужды им будут и некоторые пороки, так же как чувства ненависти и сострадания; изредка они будут вспоминать о молитве и частенько прикладываться к рюмке; трудясь, они будут проклинать свой труд, в большинстве своем жаловаться на судьбу и, конечно же, стремиться изменить мир.

Но когда родившиеся после нас станут изучать историю последних тысячелетий, они натолкнутся на главу — ибо, что бы мы ни совершили, больше одной главы в учебнике истории это не займет! — итак, они натолкнутся на главу, полную описания войн, страшнейших убийств, невероятных разрушений, главу, непревзойденную по перечисленным в ней позорным деяниям! Возможно, она будет называться «Злоупотребления властью погубили Европу» и во вступительном слове к ней будет сказано, что «это самая мрачная глава всемирной истории». Родившиеся после нас прочтут в этой главе, вероятно, о том, что человечество на своем многотрудном и таком болезненном пути через тысячелетия было ведо́мо людьми,

узурпировавшими власть,— одни получали ее по наследству, другие — прибегнув к оружию или к заговору; творя произвол, они подчиняли себе племена или государства, смотря по тому, как в те годы именовались человеческие общины. Пребывая в королевских замках, куриях, имперских канцеляриях или на бирже, узурпаторы эти делали, что хотели, человечество же было призвано повиноваться. Однако во все эпохи человечеством управляло не более нескольких тысяч людей, призывавших народы либо к пактам, либо к лютой вражде.

А какие благородные, какие прекрасные цели были у этих властителей! Они звали людей отстоять то праведную веру, то отечество, проклинали еретиков, подстрекателей, смертельных врагов, низшие расы. Человечество же, которому строго-настрого запрещали задумываться, теряло при этом чудовищно много крови. И горе его росло и росло, ведь каждый отдельный человек верил в необходимость убивать как можно больше смертельных врагов, варваров и неарийцев, ибо только тогда для него, человека, размахивающего копьем, мушкетом или автоматом, наконец-то настанет лучшая жизнь, мир будет прекрасен.

Но эта лучшая жизнь, этот прекрасный мир никогда не наступали. Нищета большинства росла, как росло богатство тех, кто окружал власть имущих. Но когда нищета большинства тех, кто рабом ли, крепостным или фабричным рабочим служил богачам, стала и вовсе невыносимой, некоторые люди принялись размышлять и, поразмыслив, сказали, что земной шар способен прокормить всех живущих на нем, если дары его лучше распределить. Властители не пожелали согласиться с подобным выводом, но миллионы бедняков прислушались к этому учению и обратили великий гнев свой против богачей и власть имущих. Именно от этой борьбы и сотрясалось тогда наше столетие.

На нижеследующих страницах родившиеся после нас обнаружат то тут, то там ссылки на эту борьбу наших дней. Они увидят также, что узур-

патор по имени Гитлер омрачил не один час в жизни многих жителей Европы, в том числе и в жизни автора этих строк.

Обнаружат они также эскиз некой биографии, кстати не лишенной типических черт, эскиз жизненного пути молодого интеллигента, приехавшего с берегов Рейна, из провинции в столицу, дабы стать писателем. То обстоятельство, что в этой биографии читатель найдет зафиксированными лишь отдельные мгновения, связано не только с историей ее написания, но и с интересом автора к отдельному мгновению в жизни человека, к тому молниеносному, ослепительному мгновению, когда взгляд вечности на миг останавливается на нем.

Оглядываясь, каждый человек вспомнит в своей жизни мгновения, когда перед ним как бы распахивались двери. И эти мгновения суть не что иное, как важнейшие вехи его внутренней биографии, их ему никогда не забыть.

Впервые я пережил подобное мгновение, когда двенадцати лет от роду услышал «Хроматическую фантазию и фугу» Баха, потом, когда я, будучи студентом, заговорил на вечере у своего учителя Оскара Вальцеля с Теодором Дойблером. Он произвел на меня впечатление заросшего, как животное, допотопного феномена, пребывающего по ту сторону тысячелетий. Еще одно из таких мгновений мне довелось пережить на вскрытии в кёльнской больнице Линденбург, когда я впервые увидел в микроскоп мерцательный эпителий зевной пленки лягушки; мой последний, почти беззвучный разговор с матерью у ее смертного одра был тоже таким мгновением, как и трапеза у бенедиктинцев в монастыре Марии Лаах, и еще звездная ночь во ржи неподалеку от Годесберга, которую я провел не в одиночестве, и какой-то миг после премьеры моей первой пьесы «Подлодка С-4» в берлинском театре «Фольксбюне», когда упал занавес.

Все это были лишь мгновения, но они означали целые этапы. Вереница пройденных дверей остается открытой позади каждого человека, стóит ему только оглянуться.

Когда я оглядываюсь, передо мной всплывают лица политических заключенных. Кое-кто из них дождался свободы, многие погибли. А я вижу их лица, вижу, как они переговариваются в камере, тихо-тихо, измученные, исхудавшие, неустрашимые. Они ждут великого счастья, ждут свободы, ждут погибели оборотня, окончания войны. Все сбылось, как мы мечтали тогда. И в то же время совсем по-другому.

Я остался в живых, и я думаю неотступно о миллионах ушедших навсегда, думаю с глубокой скорбью, ибо в годы, когда человеческая жизнь стоила не больше кулька ежевики, в те годы мне открылись величие и мощь человеческого племени.

Мужчины и женщины нашей страны подходили к судейскому столу, поднимались на эшафот, исполненные такого мужества, какое достойно вечности, какое никогда не должно быть забыто. Здесь, в Германии, идея свободы жила несломленной, жила в тысячах камер, но она жила. А этажом ниже, в полицейских подвалах нашей страны, десятки тысяч сердец бились в унисонном ларго страданий. Человеку, переходящему улицу, достаточно было прислушаться, и он услышал бы похоронный гул тысяч и тысяч голосов.

Значительную часть нашего народа схватили и бросили в подвалы страны. И здесь, внизу, а не там, наверху, в сверкающих позолотой исступленных буднях нацистского рейха, здесь, внизу, раскрывались красота и величие человека, молчаливое товарищество обреченных, братство благородной нищеты. Здесь томилась пленная армия свободы, здесь человечество шагало вперед, шагало в будущее, и путь его был мучительным! Здесь факел, озарявший этот путь, передавался из рук в руки, от одного величественно умиравшего к другому, от эшафота к эшафоту.

Но факел этот никогда не гас в нашем отечестве.

Пожалуй, следует еще сказать, что отрывки, повествующие о жизни за пределами тюремной

ограды, я писал чаще всего за решеткой и, как правило, на оберточной бумаге, предназначенной для изготовления пакетов. И напротив, отрывки, где речь идет о жизни в заточении, я написал после того, как вышел оттуда. Дабы нарушить однообразие тюремных отрывков, я каждому противопоставил отрывок о жизни на свободе, надеясь тем самым создать более или менее полное представление о жизненном пути человека того времени.

Если кому-нибудь число отрывков о личной жизни покажется чересчур большим, то ему следует напомнить, что в местах, где они записывались, было естественно ограничиваться воспоминаниями личного характера. Некоторые страницы написаны в состоянии отчаяния и потому так часто посвящены величию и красоте этой жизни — ведь автор их ожидал смертного приговора. И напротив, я был краток в описании пережитых ужасов. Как и всякий бывший узник, я бы мог многое сообщить об этом, но полагаю излишним увеличивать и без того многочисленные описания ужасов и жестокостей, которые чинили над нашим народом наряженные в мундиры прислужники диктатуры.

Пусть родившиеся после нас узнают также, что чувство меланхолии, в которое нас, выживших, повергла чудовищная смерть столь многих друзей, еще усилилось чувством глубокого разочарования в послевоенном развитии мира. Но какой прок предаваться стенаниям среди стенающих?

И если когда-нибудь родившиеся после нас прочтут главу о времени, которое было нашим временем, то я, не боясь показаться нескромным, настойчиво прошу не забывать о тех сотнях тысяч людей, которые с высоко поднятой головой сражались против кровавого террора и, сражаясь, погибли на эшафотном фронте.

Г. В.

Если б не существовало на свете боли,
мы бы еще обитали в пещерах.
Боль — это жало,
она движет нашим развитием,
она гонит человечество
от открытия к открытию.

1

В Национальном музее в Неаполе я видел ломоть хлеба не больше ладони, обуглившийся и окаменелый. Его нашли в Помпеях. Две тысячи лет этому ломтю. И кружку, и в ней, будто кусок янтаря, только чуть белее и с трещинками, поблескивало двухтысячелетнее вино.

Хлеб и вино — вот чем они жили, рядившиеся в туники во времена Сенеки и Тибулла. Хлеб был надломлен, вино недопито — Везувий прервал тогда трапезу. И по сей день она прервана, помпейская трапеза, и перед нами все, что осталось от тех дней, когда здесь гибли люди. Хлеб



и вино — дрожь двухтысячелетней давности исходит от них и передается нам, далеким внукам Помпей, тем, что едят хлеб и пьют вино, как тогда...

2

Х., несколько недель тщательно проверявший меня, однажды вечером сказал, чтобы я зашел к нему. «Хорошо, посмотрим»,— согласился я. У него сидел незнакомый человек маленького роста, темноволосый, в очках, с интеллигентным лицом рурского горняка, назвавший себя Вальтером. И еще — Курт, молодой скульптор, блондин, с выражением какой-то благородной одержимости в глазах.

Это и была наша первая явка, первая нелегальная встреча. Говорили сперва о чем попало, затем о режиме. Шел 1937 год. «Если вы против, разве вы не чувствуете, что надо и делать что-то против?» — спросил тот, кого называли Куртом. Х. внимательно посмотрел на меня, как будто я был его сыном и сдавал школьный экзамен. Я нерешительно кивнул. Мы заговорили о том, стоит ли делать что-нибудь против. Ведь это почти безнадежно, а риск чудовищный. Но если встанет не один, а тысячи и тысячи людей, разве и тогда ничто не изменится?

За столом сидели четверо молодых людей, они пили чай. Потом пожали друг другу руки. А когда я собрался уходить, мы уже были на «ты». Мужественные это были люди, они и мне придали мужества.

3

Б. пригласил к себе нескольких человек, и мы пили до двух ночи. Девушки танцевали, было накурено, голова трещала от вина. Я рвался домой, но за окном разразилась гроза, отблески молний освещали комнату, где группками сидели пирующие и устало кружились пары. Б. спросил, не пойдет ли кто купаться? Вызвались две девушки и я,

Мы бежали по ночному парку, почти не видя друг друга. Ливень серой стеной обрушивался на фонари. Добежав до берега, мы разделись, спрятали одежду под опрокинутую лодку. И сразу попрыгали в воду. Темень стояла непроглядная. Только молнии озаряли озеро. И тогда я видел три головы, слышал звонкий смех, фырканье. Ни с чем не сравнимое, какое-то животное чувство охватывает тебя, когда ты, отдавшись на волю стихии, лежишь голый в воде, а над тобой небо раскалывается от грохота, вспыхивают зеленоватые снопы молний и все трещит и сотрясается от электрических сполохов. Поистине это изумительное юношеское дерзание, и его можно еще усилить, нырнув в таинственную темень. Там ты уже совсем потерян, голый и беззащитный. Отдуваясь, ты выныриваешь и думаешь, что спасен, но нет — кромешный ад по-прежнему бушует вокруг тебя. Потом мы все вылезаем на мостки, с нас течет; возбужденные, мы хохочем под аккомпанемент грома. В призрачном свете молний блестят и переливаются извивающиеся тела амазонок. Дождь барабанит по ним. Смех, сверкают зубы.

Мы одеваемся и убегаем.

4

Четырех недель не прошло с тех пор, как меня приняли в группу, и вдруг я узнаю: гестапо арестовало Гизелу.

Лихорадочно трудимся: ночью надо перевезти по разным адресам пачки листовок. На своей машине еду за машиной X. — он более опытный и должен предупредить меня: троекратные вспышки стоп-сигнала означают: немедленно остановись! Если стоп-сигнал вспыхнет более трех раз — мне надо развернуться или свернуть в боковую улицу. Но все обошлось.

Весь день мы укладывались. Хотели бежать в Голландию. Там был у нас друг. Но тут X. дали знать, что опасность миновала. В гестапо ему сделали предупреждение, и он понял, что они ничего не знают о наших настоящих делах. Мы вздохну-

ли с облегчением, и я несколько дней подряд просидел у Кранцлера на по-летнему светлом Курфюрстендамме — мимо меня фланировал весь напомаженный мир: болтливая беспечность, многословная элегантность, блондинистое хихиканье, кичливое остроумие и обыденная фривольность всех тех, кто чувствует себя как рыба в воде в этом самом мире.

5

Подъехала машина, и толпа заорала. Сын, сидевший сзади, снял с него шапку и напялил каску с шишаком. Теперь могучего старца подняли, повернули и вынесли из автомобиля. Установили. Оркестр грянул туш. Студенты кричат. Бонн празднует свое тысячелетие. Гинденбург — почетный гость университета. Вот он идет прямо на нас. Мы — представители студенчества, и каждому из нас он подает дряблую, старческую маршальскую руку и дергает ее при этом эдаким военным рывком.

— Не угодно ли будет Вашему превосходительству проследовать вдоль почетного строя...— визгливым от волнения голосом восклицает ректор в пурпурном облачении с золотой цепью на груди.

— Хорошо, хорошо, раз уж это нужно...— буркает фельдмаршал в ответ.

Вместе со Штреземаном он шагает вдоль строя тщеславно сверкающих на солнце эспадронов, которые гордо подняты представителями студенческих корпораций.

Престарелого маршала ведут, направляют, дергают, тянут. Десять минут он поднимается по лестнице в большой Актовый зал. Когда он останавливается, чтобы передохнуть, замирает вся подобострастная свита. Оркестр без передышки наяривает воинственные марши.

6

X. подходил по мосткам, стройный, красивый. Его профиль четко выделялся на вечернем небо-

своде над Ванзее. В тот день мы вышли на ялике. Дул крепкий, часто менявший направление ветер. Х. сидел за рулем, я устроился впереди, на самом носу.

— Сегодня ночью он двинется на Польшу,— сказал Х. Это было в самый канун войны.— До сих пор он мог маневрировать; начиная с завтрашнего дня свобода действий его будет все более ограничиваться.— Х. говорил о диктаторе. Говорил сухо и строго, почти научным языком.— Потом он нападет на Россию.— Слова эти были произнесены 31 августа 1939 года; в тот же самый день три года спустя его арестовали.— Теперь действительно делается история, но только теперь ее делает уже не он один. Все мы в той или иной мере примем участие, весь мир вокруг нас и... мы сами! Каждый народ и каждый человек в отдельности должен теперь доказать, на какой стороне он стоит.— Х. говорил, как бы размышляя вслух, но очень решительно, в то время как лодка неслась сквозь ночную мглу. Порой вода хлестала через борт. Я лишь смутно различал Х. Да, это говорил немец, человек и друг, говорил в ночь перед началом войны.— И это будет самая большая война во всей истории человечества,— снова заговорил Х.— Но он не переживет ее.

Ветер свистел над озером, с шумом убегала назад вода. Стало совсем темно. Я уже не видел Х., только слышал его ясный голос, стальной и юный голос борца немецкого Сопротивления, сознававшего, что настал исторический час.

Волк, засевший в имперской канцелярии, не пережил этой войны, но не пережил ее и его враг и мой друг.

7

Что такое чистая духовность, я впервые ощутил в библиотеке бенедиктинского монастыря Марии Лаах, где в годы моего студенчества провел несколько дней.

Под древними сводами хранились тысячи бесценных изданий, фолианты в кожаных переплетах. Здесь покоилось сознание человечества, здесь дремали века. В этих томах, романах, грамотах и трактатах, историях и летописях бился пульс столетий. Стоило раскрыть любую книгу, и через филигранную вязь из двадцати шести букв, прозрачную, словно апрельский воздух, с тобой начинали шептаться предки. Любовь и ненависть, гнев и мольба, рассуждения, сама юность и сама мудрость слышались в этом шепоте. Но и тысячи убитых вставали перед твоим внутренним взором, миллионы голодающих и страждущих, благоговение и созерцание. И читал и видел все это в волшебном зеркале тысячелетий обыкновенный студент из Бонна. Библиотеки, думал он, драгоценнейшие монументы человечества, воздвигнутые всего из двух дюжин знаков. Что знали бы мы без них о Гомере, об Афинах, о Христе, Палестрине, Бетховене и Монтесуме? Да ничего!

Библиотеки — это память человечества. Они формируют наше сознание.

8

Когда я сообщил Х., что, возможно, меня возьмут на радио, в отдел известий имперского вещания, он сказал: «Обязательно поступай».

Шел ноябрь 1941 года. До этого я жил на гонорары от своих писательских трудов. На радио для нашей группы открывались немалые возможности. Меня приняли. Постепенно я привык к эсэсовскому контролю, но пришел в ужас, когда спустя несколько недель разобрался в изощренной, чудовищной технике национал-социалистской пропаганды. Именно здесь, в самом пекле информационной службы, все нити которой были в руках Геббельса и Фриче, я убедился в совершеннейшей гнусности нацистского режима. Секретные директивы с их неприкрытой жестокостью, синие бюллетени Германской информационной службы, секретные сводки СС, кипящий навар лжи, экстракт

которого через 16 миллионов радиоприемников вливался ежедневно и ежечасно в уши нашего беззащитного народа, заглушая всякое оппозиционное чувство и разжигая низменные инстинкты.

9

Сижу на берегу Закровского озера и кожей ощущаю тот теплый мир в воздухе, ту шмелиным гулом напоенную синь лета, которая так счастливо успокаивает нас. Порхают бабочки, горят свечи медвежьего ушка, шуршит осока. Вечерний ветерок с усталой царственностью о чем-то шепчет себе под нос в сосняке. Пахнет водорослями, соснами, сеном и грибами. Ах, этот великий и таинственный июль, чей каменисто-белый полуденный свет так ослепляет нас! Но слепит и золотая рифленая дорожка заходящего солнца; длинная-предлинная, она тянется от моего зрачка до самого светила, прежде чем, словно покраснев от увиденного на земле, проститься со мной. Проститься навсегда. До завтра.

10

Начальник отдела в Доме радио передал мне одно из обычнейших лживых сообщений, сказав: «Непременно передать. Указание сверху!» В сообщении говорилось, что за последний год в Советском Союзе было расстреляно 32 000 врачей. Оно должно было, так сказать, документально подтвердить, что в СССР систематически уничтожаются представители интеллигенции.

Я продиктовал информацию машинистке, добавив один нуль, как это иногда случается по рассеянности. Секретарша не обратила внимания. Сообщение записали, затем оно было передано в студию. А вечером имперское радио на шести языках возвестило, что за один год в России было убито не менее 320 000 врачей.

Тут и дурак должен был заметить, что невозможно каждый день убивать по 800 врачей и что все это сообщение от начала до конца — не что

иное, как подлая ложь, то есть что имперское радиовещание распространяет гнусную ложь.

Разумеется, потом меня основательно распекали, но никто не сомневался в том, что это обычная оговорка при диктовке. А сообщение было немедленно подхвачено Москвой и Лондоном и послужило доказательством лживости нацистской пропаганды. Один-единственный нуль вывел всемогущее имперское радиовещание на чистую воду.



Не будь глупость столь живуча и активна,
у нас всегда светило бы солнце.
Беда в том, что глупость эта стоит
так много крови.

11

Присутствовали самые различные деятели имперского радиовещания, одним из них был и я. Все мы собрались в Золотом зале имперской канцелярии.

Напротив нас высилась стена живых цветов, среди которых стоял покрытый зеленым стол. За этим столом сидели Курусу, Чиано и Риббентроп. Еще дальше блистала и сверкала парадным великолепием фашистская военщина. Хладнокровная бестия Гиммлер с лицом бухгалтера, продажный Кейтель, столп озверевшего милитаризма,— весь

безумный и кровавый аппарат трех диктатур, разыгрывавший перед нами подписание Пакта трех держав. Взлетали руки, щелкали каблуки и фразы, бренчали ордена, сверкали кресты и позументы — ать-два, и мы захватим весь мир!

Затем явился церемониймейстер из пасторали, в камзоле стиля рококо, белых чулках, голубых шелковых панталонах до колен, и трижды ударил жезлом об пол. Все повскакали с мест и, побледнев, застыли — лес рук устремился к бесшумно, автоматически открывшимся парадным дверям: настал великий момент. Нечто огромное должно было явиться. И явился... фюрер!

Маленький, ласковый и скромный, какой-то посемейному уютный, в простом пиджаке и сам растроганный. Ах, как это умиляло! Какой разительный контраст, какая хитроумная инсценировка, какая изощренная режиссура, какой спектакль! И какой зловещий расчет, но он был точен!

12

В августе 1942 года мой знакомый О. сообщил мне по секрету, что его друг, молодой солдат, оставил у него чемодан. В чемодане оказались политические брошюры, рукописи и тому подобное. Все это представлялось О. весьма странным. Не согласился бы я взглянуть на чемодан? Зная, что подпольщики в случае опасности прячут свои материалы у уважаемых граждан, не вызывающих никаких подозрений, я решил, что именно такой случай и имел здесь место. Но чья же это группа? Я согласился и поехал на квартиру к О. Вместе мы открываем чемодан, я наклоняюсь, просматриваю бумаги и вдруг чувствую: подо мной словно разверзлась пропасть. Это материалы нашей группы! Их спрятали здесь. Значит, опасность велика!

В рукописях и набросках я узнаю почерк X. Это его диссертация. Но что же тогда с ним самим? Похолодев, я вскакиваю. Кое-как мне удается скрыть паническое чувство, охватившее меня,

О. ничего не замечает. Мы пьем с ним кофе, говорим о пустяках. Он разрешает мне захватить с собой кое-какие бумаги из чемодана. Я говорю, чтобы он хорошенько все припрятал, никому не показывал и не обмолвился ни словом. Ухожу. Из автомата звоню X. в министерство авиации. Мне отвечают: X. в командировке. А когда он вернется? Сейчас ничего определенного сказать нельзя. Значит, арестован. Арестован главный. Тревога!

13

Тихо спустился вечер. Лодка мирно покачивается на воде. Прислонясь к борту, я ощущаю, как она то поднимается, то опускается. Неслышно на тысяче серых лап к озеру подполз туман. Над ним тускло мерцает Орион. Тишина. Изредка с берега доносится шуршание тополей и несказанно сладкий запах свежескошенного, теплого сена, перемежающийся с запахом воды. А с ним всплывают представления о бархатных лугах, о родине, жатве. Над озером дышат леса и поля, чистые, как во сне. Нежный запах сена, в ту туманную ночь набежавший на озеро, словно привет от давно умершей мамы.

14

В нашей квартире на Виттенбергплац в Берлине раздался громкий стук в дверь. Мы проснулись; было еще темно, пять часов утра. Я открыл дверь. Ворвались четверо, в гражданском, руки в карманах.

— Уголовная полиция,— произнес один из четверых. Гестаповец.

Они быстро заняли каждый свое место, один сразу же подошел к радиоприемнику. Нам приказали одеться.

— Оба поедете с нами,— заявил гестаповец.— Возьмите смену белья. Быть может, придется задержаться.

Джой принялась упаковывать чемоданчик.

— Не воображайте, что попадете в одну камеру,— рявкнул гестаповец.— Готовьте сразу два чемодана.

И мы стали упаковывать два чемодана. Когда Джой споткнулась, гестаповец сострил:

— Не торопитесь падать, больше удовольствия получите.

Джой вспыхнула. В ее глазах сверкнули гнев и презрение.

Двое из полиции остались в квартире. Внизу стояли две черные машины с водителями в гражданском. Из-за занавесок выглядывали жильцы. Джой посадили в первую машину, которая сразу же тронулась. Гестаповец сел рядом со мной и сказал шоферу:

— Поехали.

Меня привезли на Принц-Альбрехтштрассе, а там на лифте спустили в подвал. И в камеру.

В те дни гестаповцы еще придерживались эдакой бодряческой манеры в разговоре, как бы желая вкрасться в доверие: «Ничего, ничего... приятель... все пройдет...»

И «все» прошло.

15

Как мне сказали, в Апостолесе, деревне, затерявшейся в самой глуши Аргентины, должна быть кофейня. Я привязал лошадь и вошел. Пусто. Рой мух набросился на меня. Жарко. Я лениво поглядываю в оконце. Утоптанная красноватая глина блестит на солнце. Неожиданно из радиоприемника до меня доносятся тихие звуки скрипки. Нежная мелодия пронизывает мертвенную тишину деревни. Я уже не чувствую мокрую рубаху на себе, не замечаю капель, сбегающих по лицу,— я слышу только эту ласковую мелодию, которую где-то за тысячу километров отсюда, быть может в Буэнос-Айресе, играет чья-то очень нежная и тонкая рука. А я слушаю ее здесь, под пальмами, в этой полуиндейской деревне, и несказанно

счастлив, что в наши дни мелодия способна разноситься так далеко. Я был тогда чем-то вроде верхового почтаря.

16

По утру староста подвала гестаповской тюрьмы, с маленькими, постоянно настороженными, острыми глазками, подает мне с неизменной сладкой улыбкой в камеру щетку. Подметая, я поглядываю в открытую дверь, и мне удастся через щелку заметить в камере № 8 прядь светлых, как спелая пшеница, волос.

Это К. Он тоже узнает меня. Мы улыбаемся друг другу, но тут же стушевываемся — надзиратель идет. Мне и радостно и в то же время страшно: К. ведь из нашей группы. Когда становится тихо, я слышу легкий стук в стену. Мы перестукиваемся неумело, просто несколько тактов. Понять друг друга мы не в состоянии.

Проходят дни. Я слышу, как за стеной на К. надевают кандалы. Три раза в день до меня доносится скрип легких, изготовленных из специальной стали наручников, это после каждой еды. Иногда я слышу: К. покашливает. Тихо, очень тихо в подвале гестаповской тюрьмы. Эсэсовцы ходят по коридору на мягких резиновых подошвах. Изредка услышишь, как где-то отпирают дверь и слова: «Собирайтесь на допрос...» Потом раздаются торопливые шаги, они удаляются по коридору, далеко-далеко хлопает стальная дверь зарешеченного лифта, гудит мотор...

Проходит много времени, прежде чем услышишь, как они возвращаются. Шаги теперь медленные... Вот захлопнулась дверь камеры, и снова человек остался один. Чего только не произошло с ним в эти часы!

17

Я сидел под зеленым абажуром в редакции нью-йоркской газеты и выстукивал на машинке

свой материал. Вокруг сидели другие журналисты и тоже стучали на машинках. Дело близилось к полуночи: надо было спешить с версткой. Многие сняли пиджаки, кое у кого виднелся зеленый козырек на лбу. Когда стрекот машинок затихал, слышался разговор. Зал был старый и неуютный. За день я исколесил весь город, надо было побывать на конгрессе изобретателей, в похоронном бюро и на рабочем митинге, к тому же еще взять интервью у президента «Лайф сэйвинг компани». Устал до чертиков, да и трубка погасла. В субботу мне как и многим сотрудникам отдела городской хроники, выдадут двадцать пять долларов. Я был тогда репортером в Нью-Йорке.

18

Допрос прошел неудачно, мои последние надежды рухнули. Против меня было еще одно показание. При двух показаниях суд выносил смертный приговор. Первое показание я уже не мог опровергнуть. Человека, который дал его, казнили. А вот тот, кто дал второе, был еще жив и тоже находился здесь, в подвале гестаповской тюрьмы. И рядом со мной. В камере № 8. Это был К.

Это показание для него самого не имело особого значения, должно быть, он проговорился на одном из бесконечных допросов. Он и не подозревал, сколь тяжело это показание могло отразиться на моей судьбе. Не подозревал, что оно в буквальном смысле слова окажется для меня смертельным. Комиссар там, наверху, должно быть, потирал руки, а у суда для меня автоматически оказывался готов смертный приговор. Все было, так сказать, в порядке.

Какое-то время я сидел совершенно сраженный, полный трусливых ощущений, готовый сдаться, опустошенный после длившейся многие недели дуэли с комиссаром. Все, теперь вы меня поймали!

Стена, должно быть, была очень толстой. Я смотрел на нее. Если бы К. взял свое показание

обратно, все осталось бы по-прежнему. Надо во что бы то ни стало наладить с ним перестукивание. Надо передать ему, в какое ужасное положение я попал.

19

Воскресное утро. Д. еще не проснулась. Она лежит рядом со мной. Рукав ночной рубашки съехал до плеча. Лицо бледное, успокоившееся. Сейчас она совсем другая, что-то детское есть в ней, задумчиво-мечтательное. Я тихо встаю, принимаю душ, одеваюсь. Уже девять. Но я не бужу ее. Она любит спать до полудня, она ночной человек. Тихо закрываю за собой дверь. Потом брожу по сумеречным, прохладным улицам Берлина. Они безлюдны. На Савиньиплац перед кондитерской выставлены столики. Официантка что-то расставляет на них. С наслаждением жую белую булочку, проглатываю яйцо, выпиваю чашку крепкого кофе. Газеты сегодня толстые, их еще никто не раскрывал. Ну а так как к тому же воскресенье, каждая из них содержит по солидному культурному развороту.

Сижу и думаю о том, что я почти счастлив. В зеленой листве надо мной чирикают воробьи, попискивают зяблики. Опустив газету на колени, слежу, как сизый дымок моей трубки растворяется в воздухе. Из динамика неподалеку несутся тихие звуки органной музыки. Настоящее воскресное утро большого города, тихое, исполненное серой умиротворенности и какого-то усталого удовлетворения. Совсем недалеко отсюда лежит красивая женщина и спит. Скоро она позвонит мне по телефону домой, и мы пойдем вместе обедать. И вдруг до моего сознания доходит, что я никогда не забуду этого серого весеннего утра, наступившего после такой страстной ночи, этого чистого, гармоничного воскресного утра, наполненного птичьим гомоном. Тихо шелестит надо мной сочная зеленая листва.

Я поднимаюсь и ухожу.

20

Вечером около десяти я лежал на койке и, прикрывшись одеялом, стучал карандашом по стене. Стучал, спасая свою жизнь. Каждые несколько минут вспыхивал свет и надзиратель заглядывал в глазок. Тогда я замирал, притворившись спящим.

Начал я с нескольких равномерных тактов. К. ответил тем же. Звуки доносились ко мне тихо, как бы издалека. Один удар означал «a», два — «b», три — «c».

К. что-то простучал неравномерно в ответ. Он не понял меня.

Я повторил свой стук, он ничего не понял.

Я повторил — он не понял!

Я повторял свой стук сто раз — он ничего не понимал!

Я вытер пот со лба, пытаясь справиться с овладевавшим мною отчаянием. Он выстукивал знаки, которых я не понимал. А я выстукивал знаки, которых он не понимал.

Как же быть?

Слышу несколько сильных и затем несколько слабых ударов. Может быть, это Морзе? Но я ведь не знаю азбуки Морзе. Но постой-ка, в нашем алфавите двадцать шесть букв. Я стал выстукивать для каждой буквы ее порядковый номер: «a» — один удар, «b» — два и так далее.

Но в ответ снова раздались какие-то непонятные мне такты. Где-то пробило два часа ночи. Нет, мы должны понять друг друга! И я выстукивал:

. равно «a», .. равно «b», ... равно «c».

Очень тихо издалека мне стучали в ответ:

——. ———. —..

Нет, не понимали мы друг друга! Но на следующую ночь очень тихо, хотя и уверенно вдруг раздалось:

., .., ...

И сразу же двадцать два одинаковых удара подряд. Я подсчитал и понял — это буква «v». Потом снова пять ударов. Значит, «e». Затем «r». Потом «s», «t», «e», «h», «e»!

Verstehe... понимаю...

Счастливый, я лежал под тюремным одеялом. Мы поняли друг друга! Установили связь! Мы могли теперь разговаривать, не ртом, а руками, могли передавать друг другу мысли! Наш разум преодолел толстую стену гестаповского подвала! Я лежал, обливаясь потом. Я установил контакт! Впервые человек отозвался на мой зов. И я выстучал:

...g-u-t ...х-о-р-о-ш-о...

Один человек не в состоянии додумать мысль до конца.
Ибо нет предела человеческой мысли!
Неуловимы, непостижимы ее пути.
Мыслить может лишь все человечество.
Каждый человек в отдельности рождает лишь часть этой мысли.

21

Ах, эти улицы, бурлящие пропасти городов, хорошо бродить по ним среди людей! Калье Флорида в Буэнос-Айресе, где в пять часов пополудни происходит большое гулянье, парад элегантных креолок, десятки тысяч сверкающих бриллиантов на шеях и плечах цвета корицы, или Вацлавская площадь в Праге, Эспланади Кату в Хельсинки, где в вечерние часы в павильоне играет оркестр. Прекрасная улица Марии-Терезии в Инсбру-



ке, на которую сверху взирают снежные пики, или великолепная площадь Виктора-Эммануила во Флоренции, Юнгфернштиг в Гамбурге летним днем, Прайя в Лиссабоне, элегантная Кернтнерштрассе в Вене, Лимма-кэ в Цюрихе, незабываемая Копакабана в Рио, берлинский Курфюрстендамм, мюнхенский Одеон-плац, Хоэштрассе в Кёльне и, наконец, самая длинная улица в мире — тянущийся от Бэттери до Синг-Синга Бродвей, большой Пассаж в Неаполе, Рынок в Кракове с его полотняными балаганчиками, набережная в Лондоне... И по всем я ходил, и на всех люди смеются, любят, просят милостыню, спорят и умирают. И катится по ним на не гнущихся уже ногах постаревшая элегантность, и чопорный упадок, и дешевый соблазн, и пепельно-серая нищета! В эту самую минуту, когда я сижу тут, внизу, в своей одиночке, сверкающие взгляды, словно тучи стрел, проносятся в воздухе. Люди улыбаются, отворачиваются, кивают. О, эти молящие взгляды нищеты, застывшего отчаяния, сытые взгляды самовлюбленности, взгляды ненависти, отвращения, злобы! Миллионы сверкающих взглядов мечутся сейчас на улицах всего мира, а я сижу здесь, внизу, и никого и ничего не вижу.

22

Было ужасно холодно, и за день я прошел не меньше двадцати километров по своей камере. В месяц это составит шестьсот километров, а за девять месяцев — пять тысяч четыреста километров, расстояние примерно как от Парижа до Москвы — километры ожидания, зябкого ожидания судьбы, смерти. Да, я знал это, и комиссар сказал мне: «Не сносить вам головы».

Второе показание было им добыто, и ничего тут не изменишь, не поправишь. Оставалась только одна надежда: К. откажется от своего показания.

Ночью я вызвал его стуком: «Возьми свое показание обратно...»

— Почему?

— Это второе показание против меня... мой смертный приговор.

— Не... не знал...

— Нас бросили сюда не для того, чтобы мы говорили правду...

— Беру... свое... показание... обратно...

— Спасибо...

— Завтра.

— Что тебе передать?

— Карандаш...

— Завтра... на прогулке...

Неожиданно зажегся свет. Показался глаз эсэсовца. Я так и застыл под своим тюремным одеялом.

Снова стало темно. Слезы набежали на глаза. «Беру свое показание обратно...» Никогда мне этого не забыть. Тихо-тихо его стук донесся через стенку, едва слышно доходили до меня эти удары, удары, означавшие спасение. Правда, спасение это существовало покамест только в голове смертника. Наутро там, наверху, оно превратится в слова, а потом в протокол допроса, и в один прекрасный день всё это ляжет на стол судьи. Навеки тебе благодарен, К.

23

В Апостолесе я увидел в окно влюбленных. Они целовались.

Тоненькая девушка-креолка и кабальеро, которого едва можно было различить в тени. Чутье опытного мужчины заставило его выбрать менее освещенную сторону кушетки, на которой они миловались. Я видел, как девушка, страстно дыша, искала его ласк.

А он, должно быть играя в привычную игру, лишь терпел ее. Нет, и он, конечно, лениво отвечал на ее поцелуи, но, должно быть, это был неискренний, высокомерный человек, спрятавшийся там, у стены, человек холодный, который сам не горел, а лишь следил, как сгорали другие. Возможно, он был красавцем, а она — некрасива, этого я не мог разглядеть.

А они, целиком занятые собой, и не замечали стороннего наблюдателя, фланирующего мимо окна. Обнявшись, они сидели в низенькой каморке под Южным Крестом, как на всех широтах, не замечая ничего вокруг, тяжело дыша, сидят влюбленные всего мира.

24

От своего карандаша я отломил кусочек графита и захватил с собой на прогулку. По узкому гестаповскому двору ходили шесть человек, все те же незнакомые мне шесть заключенных ходили во дворе по кругу.

Вернувшись, мы стояли по три человека в своем коридоре, далеко друг от друга, и ждали, пока не подойдет надзиратель. Этими секундами я и воспользовался, чтобы подбежать к камере № 8. Откинув волчок, я бросил кусочек графита, тихо опустил волчок и быстро вернулся на место. Никогда мне не забыть удивленно вскинутые, очень синие глаза на очень бледном лице и руки, лежавшие в наручниках на столе. Из-за угла показался надзиратель. Сердце мое билось где-то в горле. Нас развели по камерам и заперли.

Чуть позднее раздался знакомый стук в стену:

— Благодарю... Показание взял обратно.

Я был спасен. Может быть.

25

Хорошо ехать верхом ночной порой под сверкающим небосводом тропиков! Чуть различимы голова и прядающие уши Басни. Отфыркиваясь, она вытягивает голову вперед, будто ищет чего-то. Шаги ее осторожны и в то же время уверенны. Высокое кавалерийское седло скрипит подо мной. Дороги я не знаю, да это и не нужно. Лошадь выведет. Когда она поднимается на холм, я это замечаю по седлу — оно поднимается впереди меня. А когда лошадь спускается, седло тоже опускает-

ся впереди меня. Бросив поводья, я смотрю в небо. Над нами бледный и такой простой Южный Крест.

26

Вот история заметок, записанных К. кусочком графита от моего карандаша.

Клочки бумаги, на которых был записан его монолог одиночки, К. спрятал в щели пола камеры № 8 гестаповской тюрьмы на Принц-Альбрехт-штрассе. Его казнили. В камеру № 8 поступили новые обитатели, и никто из них не подозревал о существовании записок К. Когда Берлин был освобожден и наступило суровое лето первого года, объявился бывший узник, который сообщил о том, о чем сам узнал от казненного товарища по заключению: в развалинах на Принц-Альбрехт-штрассе спрятаны заметки К. И в самом деле, осенью года Освобождения их нашли среди обломков и битого кирпича. То было послание отважного человека из Дома смерти, послание тому миру, в котором люди будут жить после него.

27

Как только наступало полнолуние, мы обязательно отправлялись к замку Лёвенбург, высившемуся на труднодоступной горе в Зибенгебирге, и на самом высоком месте при ярком лунном свете всю ночь напролет сидели у костра, любуясь серебряной лентой Рейна, молочным туманом, и то болтали, то пели, а порой и молчали. В конце концов тут же, у костра, мы засыпали, несколько студентов и студенток, в большинстве медики, праведным сном невинных. Правда, один из нас всегда бодрствовал, подбрасывая в огонь дрова, писал при этом стихи или просто тихо насвистывал. Внизу таинственно мерцали огни Годесберга, а над нами безмолвно совершала свой круговорот вселенная. То были ночи звездной гармонии, причем лишенные сентиментальности, даже чуть

трезвые, но говорили мы очень тихо: потрескивал костер, и на рассвете бесшумно выпадал иней.

28

Однажды, это было в первой половине дня, незадолго до обеда, я услышал, как тихо подняли волчок, и на меня уставился глаз эсэсовца, но он тут же исчез. Немного погодя в соседней камере раздался возбужденный крик:

— Оскар! Оскар, иди сюда!

Тут же я услышал, как отперли дверь и, должно быть, в соседнюю камеру вошел надзиратель Оскар. Послышались стоны, перемежаемые злобными выкриками:

— Повеситься захотел, сволочь! Струсил! Стой! Стой, тебе говорят! — Потом посыпались удар за ударом. Моего соседа выволокли в коридор, принесли длинную цепь и привязали его в камере к койке. Долго еще я слышал, как он стонал.

Позднее староста рассказал историю моего соседа. Все допросы его прошли благополучно. Ничего не смогли доказать. И тут он написал записку одному из заключенных. Ее перехватили, она оказалась до того неумно написанной, что комиссар получил теперь достаточно материала для обвинения. А в тот памятный день мой сосед узнал от комиссара, что его ждет смертный приговор.

29

Шумно вошел толстенький прозектор. На лбу блестят капельки пота. Слова бесцеремонно разрывают тишину. Рукава белого халата закатаны, на руках — желтые резиновые перчатки. Теперь он надел приготовленные резиновые галоши. Ассистент раскрыл книгу с записями, студенты выстроились вдоль стены поодаль. Громко шурша резиновым фартуком, прозектор расхаживал перед операционным столом и вещал:

— Итак, дамы и господа! Прежде чем приступить к занятиям этого семестра, я хотел бы дать вам один совет: всегда помните о той ответственности, какую берете на себя как будущие врачи. Помните: перед вами человек, хотя и умерший.

Служитель сорвал бумажную простыню. На столе лежал труп женщины; бледно-желтая кожа, голова с темными волосами низко свешивалась. Оттянув кожу живота, прозектор проверил плотность жирового слоя и поднял скальпель. Но тут же остановился и проговорил:

— Прежде чем приступить к вскрытию, вы обязаны удостовериться в факте смерти. Итак, прошу!

Ассистент зачитал: «Катарина Якобс, двадцати двух лет, специальности не имеет, не замужем, скончалась вчера около половины двенадцатого... Пневмония...»

Прозектор пригласил одного из студентов подойти поближе к трупу:

— Каким образом вы устанавливаете exitus?

Студент поднял веко умершей. Ничего не выражавшие глаза оказались голубыми. Голова свешивалась низко, на уровне скамьи. Студент говорит о трупных пятнах, трупном окоченении, и прозектор велит ему сесть.

Затем последовало верхнее поперечное сечение, продольное, после чего прозектор удалил грудину. Теперь все органы были обнажены. Прозектор извлек легкое...

— На правом каверны...

Положив легкое на деревянную тарелку, служитель обносит его для обозрения.

*— ...ulcus ventriculi *... На почках мы имеем возможность обнаружить следы начинающегося атеросклероза...*

Почки также совершают свой круг для обозрения.

Скальпель вскрывает шею, и прозектор несколькими сильными движениями вырезает гор-

---

* Язва желудка *(лат.)*. Здесь и далее примечания переводчика.

тань. При этом нож задевает нёбо, и под сводами анатомички гулко разносится скрежет. По лицо фрейлейн Якобс не меняется.

Ассистент записывает. Одно ловкое и быстрое движение следует за другим, прозектор вынимает органы, рассекает их, осматривает...

— Сердце, господа, похоже на французскую булочку, его секцируют поперек, господа...

Все, что происходит с телом фрейлейн Якобс, фрейлейн Якобс теперь не интересует.

Девушка сгорела, сгорела как свеча, она кончилась, как кончается отрывной календарь. Ласки уже не будут приводить ее в неистовство, волнения — вызывать трепет. Ее руки ни к чему уже не притронутся, а тела ее уже никто не будет желать. И колени эти уже никогда не согнутся, и глаза не откроются никогда...

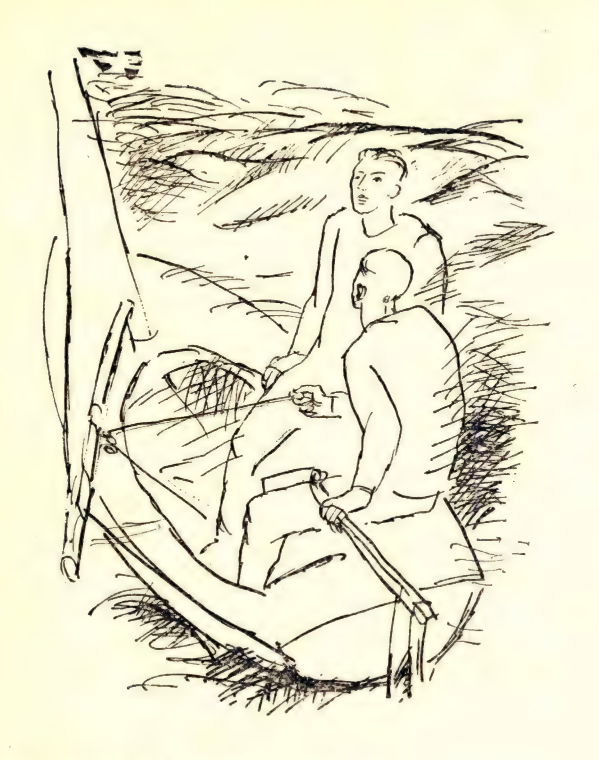
30

Обычный ужас, словно минутное зябкое содрогание, проходит быстро, а вот иногда ужас может тянуться месяцами. Но бывает и такой ужас, который не проходит: будто черной железной судорогой он сводит всего тебя, после того как рухнули последние надежды. Он не щелкает звонко, нет, он, ухмыляясь, протискивается через тяжелую дверь узилища, когда после очередного допроса ты начинаешь понимать, что жизни твоей пришел конец, что тебе, совсем еще молодому человеку, несломленному, любящему, дышащему, полному сил и тепла, что тебе осталось жить всего несколько недель, что настал твой закат, и все это вдруг, нежданно и нежеланно, словно срубили тебя, не дав расцвести.

Бывает и другой ужас — некое бледное оцепенение, поселившееся в твоем сердце под покровом льда. Будь сдержан, не покажи страха, когда откроется дверь. Но что, если она заперта? Что тогда? Тогда беспомощный человечек носится по своему подземелью, топает ногами, барабанит кулаками в стену, бьется об нее головой и вдруг, остановившись, широко раскрыв глаза, бормочет:

«Нет! Нет!» Кругом кромешная тьма, и он, застыв в страхе, время от времени вытирает холодный пот со лба и стонет. Стонет, будто животное. Его обуял страх беззащитной жертвы, ибо беззащитность, сознание того, что ты жертва, жертва бойни, ужасающи.

Они могут войти и поволочь тебя, куда захотят. Они могут сделать с тобой, что захотят. Ты слаб, ты закован, и ты один. А их всегда много, они сила, они вооружены. Они держат тебя здесь про запас, будто в сейфе, будто в несгораемом шкафу закладную. И у них много таких сейфов. И в каждом хранится жертва, жертва для заклания, жертва полная тревоги, страха, жажды жизни. И в каждой камере она мечется, барабанит кулаками по стене, бледная от ужаса, уставилась на дверь и ждет. И вдруг среди мертвенной тишины раздаются шаги. К кому они? Что несут тебе? Мы все — община настороженных, товарищество страха, но у всех у нас разные голоса в этой зловещей симфонии судьбы, партитура которой — протокол гестапо. А сейчас у нас похоронный антракт, предшествующий финалу. Каждый шаг в коридоре — гулкий удар молота в наших ставших столь чувствительными ушах. Когда человеку раз за разом отрезают на допросах все пути, когда он уже сжался от страха, словно в кулак, когда наступает молчание под покровом внешнего безразличия, тогда и начинается ужас, который не проходит никогда, ужас, который замораживает твое сердце и убивает тебя до того, как тебя убили они,— то ужас жертвы, тот, другой, последний ужас.



Бесформенна и бесцветна наша жизнь.
Лишь смерть — по контрасту — дает ей
вспыхнуть.
Она нежно обрамляет каждое мишурное счастье
своей черной тенью.

31

Я жил один в Линдезее — маленькой, бесконечно одинокой и заброшенной гостинице на берегу затерявшегося в глуши озера. Целыми днями напролет я ни с кем не разговаривал, иногда катался на лодке. Но вечером, в сумеречный час, я ходил на свидание... с ежом, старым, довольно шустрым

ежом, у которого были маленькие сверкающие глазки. Он, видите ли, любил бегать по той же тропинке, что и я.

Вечера в этом бранденбургском краю удивительно хороши — закатное небо просвечивает сквозь листву берез. Всюду запахи лета, тишина царит безмерная, только вечерний ветерок прошумит в ветвях сосны, а под нею хозяйничает этот самый маленький и такой умный ёж, с которым я и делю свой досуг.

32

В четыре часа дня на моей двери падает волчок. Надзиратель-эсэсовец кричит:

— Собирайтесь...— и сразу же это страшное слово: — на допрос.

Сижу словно окаменел. Сердце стучит. И я снова, уже в который раз, продумываю шаг за шагом свой план борьбы. А если он спросит об этом? Или о том? Или начнет дознаваться об этом? Быстро придумай и приготовь ответ. Сейчас за тобой придут. Уже пять часов.

Сижу, до боли стиснув зубы, весь — решимость, весь — энергия, напряжен до предела, готов сражаться до последнего. Снова и снова взвешиваю, лихорадочно взвешиваю все возможности. Уже шесть. Принесли вечернюю похлебку. И снова я бегаю по камере взад-вперед. Мысли начинают кружиться. Устал. Восемь часов.

Готовый вскочить в любую минуту, лежу на койке. В голове все перепуталось. Холодно. Продрог как собака. Пробило десять. Ничего уже не соображаю.

Нет, бессмысленно все, не вижу никакого выхода. Бьет одиннадцать. От бесполезной траты энергии я будто парализован, все безразлично. Лежу с открытыми глазами. Бьет двенадцать. Не придут они уже, да если и придут — мне все равно. Устал, очень устал.

Наконец, около половины второго, гремят ключи. Открывается дверь. Бледный и злой эсэсовец орет, переступив порог:

— Встать! На допрос!

Словно деревянный, встаю, иду за ним.

Да и зачем гестаповскому комиссару на допросе человек отдохнувший, выспавшийся? Пусть у него сдадут нервы — тогда милости просим на допрос!

33

В баре «Любиа дель Оро» полно мужчин, они пьют, курят, болтают, не слушая друг друга. Граммофон скрипит плаксиво-модное танго.

Индеец, на котором ничего нет, кроме штанов, расхваливает меткость своего оружия. Вставив в трубку, длиной почти в рост человека, небольшую стрелу, он прикладывает трубку к губам.

Удивительно тихо сделалось вдруг, все, кто был в баре, уставились на индейца. А он, безобразный, мускулистый, тщеславный и нервный, искал глазами цель. И вдруг увидел кошку, бесшумно вспрыгнувшую на один из дальних столиков. Индеец набрал побольше воздуха, раздался слабый хлопок, и отравленная стрела, величиной с палец, вылетела из трубки.

Кошка, принюхивавшаяся к лужице разлитого вина, вздыбилась. Стрела попала в загривок и грациозно покачивалась, покуда зверек когтями пытался выдрать ее. Кошка извивалась, будто в любовном экстазе, потом медленно подползла на животе к краю столешницы и, словно услышав чей-то зов, застыла. Подняв свою круглую мордочку, она беспомощно оглядела лица мужчин, с затаенным дыханием следивших за ней.

Неожиданно янтарный и блестящий глаз остекленел. Кивнув раз-другой, кошка медленно опустила мордочку на передние лапы и когтями вцепилась в край стола. Дрожь, словно морская рябь, пробежала по шкурке. Все было кончено.

34

Я сидел напротив него в поразительно будничпо обставленной комнате Главного управления имперской службы безопасности. Меня только что ввели, позволили сесть, и я следил за тем, как он не торопясь, словно наслаждаясь, затачивал карандаш. Долго затачивал. Очень долго. В комнате, где мы сидели, я, арестованный, и он, гестаповский комиссар, царила мертвая тишина. Фамилия его была Хабекер, и многие годы спустя я обнаружил эту фамилию, фамилию палача, в книге Шлабрендорфа и в газетной заметке, описывавшей, как пытали английского пленного в лагере Дахау. Маленький, коренастый, с плоской лысой головой и гитлеровской мушкой на верхней губе под влажным от испарины носом, он был похож на типичного убийцу. Тяжелый подбородок и серый, нечистый цвет лица, с которого на меня смотрели два мутных снайперских глаза, дополняли это сходство. Разрезав сигарету пополам, он закурил, педантично сложил бумаги и карандаш, взял папку с моим делом: партия в шахматы могла быть продолжена.

И убийца, как всегда, начал с самого невинного вопроса:

— Назовите ваших знакомых.

Игра началась. Партия этого дня окончилась вничью.

35

Я стоял на смотровой площадке купола собора св. Петра в Риме, пока не спустилась ночь. Гёте и Гойя смотрели отсюда на город. Предо мной простирался Рим — убегающие крыши, лес церквей и куполов, очень скоро засверкавший красным золотом заката. Здесь ты стоишь выше всех повелевавших миром пап, которые теперь покоятся глубоко внизу в своих гранитных гробах. Ветер Средиземноморья гулял здесь, влажный, попахивавший дымком. Сам купол собора — не что иное, как плод гения старика Микеланджело. Темнело, и великий город вспыхнул тысячами огней, а ка-

менные плиты, из которых был сложен собор, все еще хранили солнечное тепло минувшего дня. Над Римом распростерлась торжественно-праздничная красота ночного итальянского неба. И таким сразу кажешься себе маленьким здесь, на ветру, который вот уже три тысячи лет гуляет по этому городу. А он стоит себе, этот город, старый и лживый, и к тому же высокомерный, однако полный несметных сокровищ, к которым стекается весь мир.

36

Меня спросили, не было ли однажды ночью, когда мне позвонил Харро, произнесено слово «расклеивать». Действительно, в ту ночь я говорил по телефону с Харро и он спрашивал, не пойду ли я с ним расклеивать листовки. (Это была как раз та ночь, когда около шестидесяти подпольщиков расклеили тысячи листовок по всему Берлину, причем их «страховали» офицеры, вооруженные револьверами.)

Я признал, что говорил в ту ночь по телефону, однако не соглашался с тем, что было произнесено слово «расклеивать».

Но как же я удивился, когда гестаповец зачитал мне показания моей жены! Она утверждала, что в ту ночь по телефону говорила только она. Меня даже не было в комнате. И рассказала она все это, чтобы помочь мне, чтобы взять вину на себя. Некоторое время я молчал, охваченный огромным чувством любви. Этот телефонный разговор доказывал факт соучастия, а это в свою очередь означало каторжную тюрьму. Жена была готова вместо меня отправиться в тюрьму. Отважная женщина! Она чудовищно страдала в заключении, но все равно была готова взвалить на свои хрупкие плечи еще большее бремя.

Вернувшись в камеру, я рассмеялся и мысленно послал ей через все эти гестаповские стены привет на Александерплац, где она томилась вместе с другими женщинами.

37

Над Каналом мы попали в грозу. Свирепые порывы ветра сотрясали ревевший моторами «дуглас». Мы сидели, удобно откинувшись в креслах. Дождь барабанил по иллюминаторам. За ними выла разбушевавшаяся стихия, а всего в двадцати сантиметрах сидел я и попивал кофе. Невероятно! Паря на высоте нескольких тысяч метров, сидишь глубоко в кресле, в вечерних сумерках, и делаешь что-то будничное — помешиваешь ложечкой кофе, куришь трубку, читаешь театральную рецензию, будто в маленьком, ярко освещенном домике, повисшем над землей, а там, за стеклом, с гигантской силой бушует гроза. Но скоро самолет оставляет грозу позади, и мы уже летим над морем огней, под мерцающим тысячами звезд небосводом, над бесконечным ковром, расцвеченным всеми цветами радуги. Это Лондон, сердце старинной империи, сияет подо мной своими огнями.

Скоро мы садимся в Кройдоне. Идет дождь, город кажется мрачным, чем-то недовольным, но это город свободы.

38

Тюремный алфавит выглядит так:

	′	′	′	′	′
1 × ″	a	b	c	d	e
2 × ″	f	g	h	i	k
3 × ″	l	m	n	o	p
4 × ″	q	r	s	t	u
5 × ″	v	w	x	y	z

Знак ′ означает один удар, знак ″ — двойной удар. Двойные удары обозначают горизонтальный ряд. Например: буква «m» находится в третьем горизонтальном ряду. Я даю три двойных удара. Но буква эта — вторая в ряду. И потому я после трех двойных ударов передаю два одиночных удара.

m = ″ ″ ″ ′ ′
a = ″ ′
r = ″ ″ ″ ″ ′ ′
t = ″ ″ ″ ″ ′ ′ ′ ′
a = ″ ′

Marta

39

Постепенно сумеречная аудитория заполняется. Поодиночке и группками в нее вливаются девушки и молодые люди — одни со злым, другие с улыбающимся лицом, а кое-кто и с обалдевшим от зубрежки. Шум нарастает. Кто хлопнет портфель об стол, кто громко окликнет кого-нибудь, кто поздоровается.

Несколько наших львов с развевающимися гривами высокомерно фланируют в проходах, снисходительно кивая желторотым первокурсникам. Экзаменующиеся студенты озабоченно семенят за бледнолицей ассистенткой... Фрейлейн доктор!

А эта самая фрейлейн доктор — расплывшаяся, бледнолицая женщина, похожая на каравай белого хлеба на ножках, эдакая двадцатисемилетняя матрона из Саксонии, идет себе и благоволительно кивает.

Вошел профессор Вальцель. Аудитория мгновенно стихла. Авторитет с мировым именем. Переплеты окна отбрасывали резкие тени на его лицо — голова как наблюдательная станция. Нижняя часть лица — нива скепсиса, верхняя — кущи созерцания. И то и другое резко разделено. Борода и волосы — седые, глаза — щелочки, темные, взгляд сдержанный.

Студенты любили его за понимание молодежи. И он не болтал об этом, как принято нынче, а сам устраивал вечера, на которых обсуждались стихи молодых поэтов. На этих вечерах читали, спорили, узнавали друг друга. И семинар, несмотря на свой состав, проходил живо.

Наконец утихло приветственное шарканье многочисленных ног, и профессор приступил к анализу немецких романтиков.

«...этические воззрения Шлейермахера, как они предстают перед нами в «Монологах», а также в «Системе учения о нравственности», прежде всего привлекают внимание тем, что они противоположны Кантову ригоризму. Как и Шиллер, Шлейермахер отстаивает этику сильной индивидуальности, незаурядной личности, стремится доказать,

что избранные натуры вправе отказаться от постоянного самоконтроля, от следования категорическому императиву...»

В аудитории было невыносимо жарко. Слушателей набилось столько, что яблоку негде упасть. Они сидели, низко наклонив головы. Скрипели вечные перья. Стоило профессору сделать паузу, как от задних к передним рядам прокатывалась волна поднимающихся голов. В оконное стекло бился шмель.

*«...Однако Шиллер сохраняет для своих исключительных личностей, для «прекрасных душ», Ultimum refugium * категорического императива в тех случаях, когда состояние аффекта выталкивает их из нормальной колеи...»*

Девушки с русыми косами торопливо записывают красными пальцами слово в слово. У них насупленные лица, они так стараются, что лишены всякой привлекательности. А у студентов, когда они конспектируют, лица делаются какими-то опустошенными. Нет, сейчас они не думают, никто здесь не мыслит, сейчас все здесь — стадо согбенных скорописцев.

«...К тому же отрицание реальности в ее этических проявлениях занимает куда больше места, нежели изложение положительных этических ценностей...»

Звонок. Лекция окончена. Слушатели поднимаются, шум, грохот стульев, к профессору выстраивается очередь торопливых: пожалуйста, спросите. И он спрашивает. Суета, неразбериха. Аудитория пустеет.

40

И часа не прошло после его поступления в Шпандау, как он вызвал меня стуком. Состоялся обычный тюремный разговор.

— В чем тебя обвиняют?

— Государственной измене. А тебя?

— Государственной измене. Суд был?

— Нет еще. А у тебя?

---

* Последнее прибежище *(лат.)*.

— Вчера.
— Сколько тебе дали?
— СП.
— Подойди к окну.

СП значит смертельный приговор. Мы переговаривались через маленькие открытые окна над нашими головами, причем достаточно тихо, чтобы в коридоре нас не было слышно, и в то же время настолько громко, чтобы сосед по камере мог слышать. Стоишь под окном, будто на молитве, поднялся на цыпочки, тянешься к решетке и, не шевелясь, прислушиваешься к словам, долетающим к тебе из соседнего окошка.

Зачатие происходит постоянно.
Однако потоки семени, которые извергает
природа,
всегда соразмерны урагану, произведенному
ее последним вздохом.
Семя и дыхание всегда соразмерны.

41

Еду с ней в Брюнингслинден. Сухо и жарко. Ставлю машину на стоянку и лихо захлопываю дверцу. Красивая женщина. Прохожу с ней через старинный замок на террасу. Гостей мало. Всем своим видом официанты подчеркивают, что вы находитесь в весьма солидном заведении. Далеко внизу под нами поблескивает в закатных лучах Ванзее. Ужинаем. Д. указывает мне на один из столиков — за ним сидит французский посол с семьей. Тихо шелестят деревья вокруг. Замок



позади светится всеми окнами. Журчит фонтанчик. По озеру скользят яхты, направляясь теперь уже домой. Прекрасный и такой успокаивающий вечер.

Я наливаю в бокал вина, а Д. на какое-то мгновение заглядывает мне в глаза. При этом ее зеленоватые кошачьи зрачки чуть вздрагивают.

42

Двадцать шесть лет ему было, обер-лейтенанту люфтваффе, приговоренному к смерти. Он подал ходатайство о помиловании с просьбой отправить на фронт. И теперь ждал ответа.

Однажды я услышал, как в соседней камере он спросил надзирателя, надевавшего на него наручники:

— Скажите, вахмистр, расстреливать будут в лесу?

Четко и ясно прозвучал вопрос, заданный как бы мимоходом в прохладной, мрачной атмосфере Шпандау. У меня он до сих пор стоит в ушах. Мысль о том, что это будет происходить в лесу, поддерживала обер-лейтенанта. Он не хотел, чтобы ему отрубили голову в Плётцензее. Ему отрубили голову в Плётцензее.

43

Ветер налетал порывами. Яхту сильно кренило. Я еле удерживал руль и шкот. То и дело волна хлестала через борт. Оба мы, перегнувшись за борт, со скоростью ветра неслись вперед. Только бы фал выдержал. Старый уже. Вода шлепается о нос, брызги веером пролетают над нами. Скоро запросит пощады, подумал я. А она только смеется. Ее черные волосы развеваются на фоне свинцовых туч. Перебрасываем парус. Она закрепляет фок-фал. Вымокла до нитки, но все равно смеется. Ну, ладно, думаю. Вокруг на темно-серой воде пляшут белые гребешки. Буря с воем проносится над озером.

Большое это удовольстве наблюдать, как человек меряется силами с бурей, но еще большее —

чувствовать доверие девушки, когда правишь лодкой в бурю. Откинувшись назад, она запрокинула голову и смотрела на меня своими золотисто-карими глазами. Даже побледнев, она все еще смеялась, зубы поблескивали в спускающихся сумерках.

44

Несколько дней спустя я услышал в коридоре шаги. Двое. Опасность! Кому она грозит? Они отпирают камеру рядом со мной. Обер-лейтенант! Раздается крик. Какой-то сдавленный кошачий крик. Упало ведро. Возбужденные возгласы. И снова тишина. Хлопает дверь. Шаги удаляются. Я стучу в стенку: «Что у тебя?»

— Меня связали.

Значит, ходатайство о помиловании отклонено. Теперь он будет ждать казни. К вечеру его переводят в камеру смертников с красной дощечкой на двери. Оттуда только одна дорога — в Плётцензее. Через два дня его увезли. Он был молод, светловолос, всегда подтянут, на прогулках любил встряхивать головой. Он был обер-лейтенантом.

45

В Коррьентесе я видел, как плакали две женщины. Индианки. Окно стояло открытым, в пустой каморке горела свеча, тени колебались. Обе женщины были небольшого роста, но широкоплечие. Они сидели, прижавшись друг к другу, как будто случилось что-то непоправимое. Головы склонялись в каком-то душераздирающем порыве. Обе тихо плакали. Тела их содрогались, как если б это был один человек. А может, так оно и было — горе объединило их.

На улице темнело, трудно было что-либо различить. Тишина спустилась вместе с вечером, и только слышались рыдания обеих индианок, но и они были какими-то робкими, шли откуда-то из глубины. Должно быть, индианки не привыкли

плакать. Не знали раньше слез. В красноватом отсвете свечи обе фигуры слились в одну, непомерно грузную. Никогда раньше я не видел столь скорбной сцены. Сами они ничего не замечали вокруг. Забыв обо всем, они рыдали над своим, неведомым мне горем. Никогда я их больше не увижу. На какое-то мгновение передо мной промелькнула чужая жизнь, а я уже шагаю дальше, сам чужой и неузнанный.

46

Последнюю мою записку перехватили. Она попала в руки одного из самых свирепых надзирателей — молодого и жестокого мозельца. С клочком бумаги он вошел в мою камеру. Было воскресное утро — об этом говорил его мундир и шедший от него запах водки. Чутье подсказало мне — осторожно, он хочет тебя спровоцировать. Он-то прекрасно понимал, как чудовищно важно для меня, чтобы записка не попала к судьям. До этой минуты о ней знали двое: он и я. Ростом он был невелик, даже узкогрудый какой-то, но невероятно агрессивный и хитрый, к тому же немного пьян. Кобура не расстегнута. Записка лежала у меня на столике, он стоял у открытой двери, я — под окном, как и положено по тюремному уставу, «смирно, руки по швам». Я доложил о себе, и теперь мы с ненавистью смотрели друг на друга.

— Это ваша записка?

— Да.

— Посмотрите, что вы там написали.

Самое ужасное мгновение за все время моего заключения наступило. Я шагнул к столику, но тут же, быстро взглянув в сторону стоявшего в дверях насторожившегося надзирателя, опустил руки. Стоит мне взять записку, сунуть в рот — и все, нет больше записки! Схватка неизбежна. Он собьет меня с ног, может и пристрелить. Но записка исчезнет. Постой-ка, он же наверняка прочитал ее и потом выступит свидетелем. Тогда никакого смысла нет уничтожать записку. А если прыгнуть и вцепиться ему в горло?

Эти мысли словно парализовали, ослепили меня. Напрягаю мышцы — не такой уж я слабый! Но нервы сдают. И вдруг наступает пробуждение. Нет, не выбраться мне на свободу, даже если я справлюсь с этим надзирателем. За дверью моей камеры еще три тяжелых тюремных двери. Да и позвать других эсэсовцев он успеет. Убит при попытке к бегству? Только теперь я замечаю, что меня бьет дрожь.

— Чего глаза таращишь?

Знает ведь, о чем я думаю. Правой рукой уперся в бок, там у него револьвер. Между ним и мной мечутся искры лютой ненависти. Будто хищники, стоим мы друг против друга. И тут случается нечто ужасное. Прищурив глаза, он тихо командует высоким голосом:

— Приседай!

От охватившего меня бешенства я едва держусь на ногах. А он опять цедит сквозь зубы:

— Приседай! Живо! Или отказываешься выполнять приказ?

Вон куда он гнет! Тогда и подавно.

И я приседаю, вытянув руки вперед. А он, схватив записку со столика, выходит из камеры. Дважды в замке поворачивается ключ, щелкает задвижка. Шаги удаляются по пустынному коридору. Взревев от ярости, я бросаюсь на койку.

47

Расставаясь со мной в Праге, П. подарила мне крохотного фарфорового зайчонка. Я никогда не расставался с ним. Два года спустя на премьере «Нойберши» в Берлине, сжимая его в руке, я сломал ему лапку. А в ночь перед тем, как уехать к П. в Виргинию, я потерял его, когда мы пили у Георга Гросса. На следующий день мы встретились. Но все было кончено.

48

Последний допрос прошел неудачно. Захлопнулась дверь камеры, послышался скрежет ключа, щелкнула задвижка, шаги эсэсовца удалились.

Сижу и думаю. Кто-то дал показания против меня. Очень плохие показания. Гестаповский комиссар объявил мне несколько раз шах, и теперь я думал о том, удастся ли мне избежать мата. Мне грозил смертный приговор. Ежедневно и ежечасно сражаясь с комиссаром не на жизнь, а на смерть, я теперь вспомнил слова Х.: «Для защиты от гестапо все средства хороши, если они не вредят кому-либо третьему».

Три месяца я стою на пороге смерти. Однажды удалось выпросить ножницы, подрезать ногти. Надзиратель ждал в дверях, не спуская с меня глаз. Уж очень они в гестапо пеклись о нашей жизни. Мне все же удалось сделать несколько надрезов на простыне. Отдавая ножницы, я почувствовал огромное облегчение. Родилась надежда. Оторвав полоску от простыни, я теперь мог в любую минуту покончить с собой. Никогда не забуду, как эти два надреза подняли мое настроение. Ведь у меня в руках был козырь, о котором никто не знал.

Надрезы эти были мне утешением и надеждой: вот как тяжко может быть человеку! Всей силе Гитлера в Европе с десятью миллионами солдат под ружьем противостояли эти два надреза. На чаше моих весов они уравновешивали ее.

49

Запомнилось мне навсегда, как под рождество я ехал в Опладен, в свои родные места. Я был тогда студентом Боннского университета, но уже молодым автором, известным в Берлине. Во всяком случае, моя голова была полна самых заносчивых планов и надежд, желания повидать весь мир, попутешествовать в свое удовольствие. С жалким чемоданчиком в руке я повернул на Гартенштрассе и еще издали увидел мать. Прошел год с тех пор, как я был здесь, и теперь, увидев ее вновь, я испугался.

Худенькая, седая, хрупкая, она шла мне навстречу со счастливой улыбкой на бледном лице. Уже тогда последняя болезнь наложила на нее

свою печать, и именно это я и понял вдруг. В мгновение все мои заносчивые планы, желание повидать мир, попутешествовать улетучились. Самопожертвование, доброта, щедрость души, великое страдание и столь малое счастье матерей всей земли неожиданно предстали предо мной в ее лице. Нет, она была уже не жилец на этом свете, но улыбку, озарившую ее лицо, когда она увидела меня, нет сил описать. Как только мы оказались рядом, она протянула ко мне руки и сказала:

— Вот и ты, мальчик мой.

Так она всегда мне говорила.

50

Дверь камеры открыли рывком. (А как мягко открываются эти двери, словно дверцы сейфов!) Надзиратель орет:

— На допрос!

Шагаю с ним по бесконечному тюремному коридору. В комнате сидит гестаповский комиссар: штатский костюм, блондин, свежее лицо спортсмена, вызывающее доверие. Показывает мне фотоснимок, спрашивает:

— Этого вы знаете?

Смотрю: мрачное лицо, но черты мягкие, небольшие усики. Мужчина лет тридцати. Кто это? И как отразятся на судьбе этого человека мои показания? Я его не знаю. И говорю, что не знаю. Комиссар утверждает, что я должен его знать. Повторяю, что не знаю. Комиссар настаивает, чтобы я хорошенько подумал.

Кто-то, должно быть, показал, что этот незнакомый мне человек знает меня. С какой целью? Может, он хотел этим обелить себя? Или направить комиссара на ложный след? Или, быть может, утопить меня?

— Этот человек бывал у вас на квартире,— говорит комиссар.

— Никогда.

— Вы в этом уверены?

— Да.

— Ваш друг З. показал, что познакомился с этим человеком на вечере в вашей квартире.

«Берегись! — говорю я себе.— Этот человек никогда у тебя не бывал. Может быть, комиссар хочет проверить тебя? Может, эти показания дал совсем не З., а другой арестованный. Или З., известный нам своей смелостью, действительно показал это, чтобы скрыть, где и когда он на самом деле познакомился с этим человеком, так как в последнем случае это могли использовать против кого-то третьего, что означало бы для этого третьего смерть. А вдруг это какой-то коварный ход?» Вопросы сыплются один за другим. Комиссар не дает мне ни минуты передышки.

Ледяной холод. Не топят, значит. Изо рта идет пар. На улице выпал снег — я это вижу в окно. На комиссаре добротное пальто и коричневый шерстяной шарф. Помещение очень большое, должно быть для каких-нибудь заседаний, голое и неприютное. У дверей стоит надзиратель и вертит в руках ключи.

Но если З., наш главный, дал такое показание, то я не имею права его опровергать. Он-то знает что к чему лучше нас всех. На допросах он героически сражается за нас. Да, крепкий орешек для меня этот вопрос. Но я должен его разгрызть. Как теперь отвертеться от своего решительного «не знаю»?

Я говорю, что в моем доме часто бывали люди, приводившие с собой друзей и знакомых, которых я совсем не знал. К тому же память у меня очень плохая. Возможно, и этот человек бывал у меня когда-нибудь. И чем дальше я смотрю на этот снимок, тем вероятней мне представляется такая возможность. Но определенного я ничего сказать не могу. Разумеется, комиссар немедленно указывает мне на противоречивость моих показаний.

— Это ваш окончательный ответ?

— Да.

Комиссар записывает, и меня уводят.

В камере я лихорадочно перебираю в уме все варианты. Но здесь, в одиночке, ты ведь не слы-

шишь эха своих показаний, вот и дрожишь, не находя себе места. Слабый ты человек, и горе у тебя большое. Неужели ты допустил ошибку? Только бы не это! Не топят, сволочи! Холод собачий. Пальцы стынут, а ты ими клеишь пакеты. Дыхание поднимается белым паром ото рта, голод терзает тебя, и ты вот-вот лишишься сознания от чувства своей беспомощности.

3 № 542

Подобно переплетающимся голосам фуги,
жизнь и смерть шагают рука об руку:
мелодия у них одна.
Но интродукция, разработка и кода
вступают в свои права в разное время.

51

В Неаполе есть квартал, куда не принято ходить иностранцам: узенькие, грязные переулки, между домами натянуты веревки с бельем. Жители сидят у дверей, болтают, поют, торгуются.



Вечереет, из дверей несется музыка. Я захожу. Винный погребок: три бочки, из которых наливают вино, несколько грубо сколоченных стульев и человек двадцать посетителей, мужчин, все босые, с красными шейными платками, волосы черные как вороново крыло. На одной из бочек сидят двое с мандолинами и хорошенький паренек. Он поет. Мне нали-

вают вина. Я угощаю музыкантов, и они поют для меня настоящие старинные неаполитанские песни рыбаков. Все мы восторженно аплодируем. Присутствующие оглядываются на чужака, понравилось ли? Еще как! Это один из самых прекрасных концертов, какие доводилось мне слышать за всю жизнь. При тусклом свете керосиновой лампы сверкают глаза паренька, он поет, мандолины тренькают, вино красное, крепкое, и все мы тут мужчины, и все мы любим музыку.

На улице светлый сентябрьский вечер, у открытой двери сидят ребятишки на корточках, хорошенькие оборвыши с большими любопытными глазами. Когда певец поет печальную песню, черные глаза детей при свете керосиновой лампы делаются тоже печальными.

52

Когда тебе надевают наручники, ты в который уже раз поражаешься тому, с каким упорством власти желают видеть в тебе преступника и соответственно обращаются с тобой. Ты-то понимаешь, что не преступник, даже уверен, что никакой ты не преступник, и борешься с искушением сказать штатскому (ах, эти гестаповцы в штатском со стальными наручниками и револьвером в кармане пальто и такой странно застывшей ухмылкой на физиономии!), сказать этому штатскому несколько слов примерно следующего содержания: вы же сами понимаете, что о войне можно быть разного мнения, не правда ли? Вот посмотрите, у вас револьвер, вы, так сказать, вооружены и отлично обучены, и питание у вас превосходное, а я как-никак, просидев девять месяцев в одиночном заключении, в холоде и в голоде, сами понимаете, несколько ослабел. И вешу не более пятидесяти килограммов. Может быть, обойдемся без наручников?

Но я опять забыл — у него же приказ, и со смешанным чувством стыда, гнева и какого-то веселья я протягиваю ему руки. А он профессиональным, почти ласковым движением опытного

парикмахера накладывает на твои кисти наручники из специальной стали, защелкивает их и запирает крохотным ключиком. Надзиратель стоит в дверях, ухмыляется.

На дворе солнечно и морозно. Тебя уже неделю как не брили, отросшая щетина цепляется за воротник, а сталь наручников еще хранит тепло от кармана гестаповца.

Затем тебя сажают в большую машину гестапо с такой обыденной серией IA на номере. Вокруг твоих щиколоток сразу же защелкиваются ножные кандалы, прикрепленные к днищу кузова. Мой гестаповец садится рядом с водителем-эсэсовцем, на котором тоже штатский костюм, и трое ничем не выделяющихся гражданских лиц едут в легковом автомобиле по Хеерштрассе. Никому из повстречавшихся нам и в голову не придет, что это гестаповцы везут кандидата в смертники. Мы же такие обыкновенные, рядовые, ничто в нас не бросается в глаза. И все-таки мы не коммерсанты, не обыватели, которые едут куда-нибудь развлечься в это солнечное морозное утро по широкой Хеерштрассе. Мы — это кровавая нацистская власть и ее жертва, правда чуть переодетые, чтобы нас никто не узнал. И нас никто не узнает.

53

Доберешься после долгого пути наконец до Росарио, лежишь в номере гостиницы «Глориа», утонув в подушках, и в сумеречном освещении начинаешь понемногу различать кресло, обтянутое шелком, лампочку под абажуром. Ты спишь здесь над могилами ацтеков, но спишь на пуху. И вдруг ты слышишь глухие звуки фанфар, и тебе кажется, что это предсмертные крики жертв иезуитов. Ноги воинов-инков торопливо ступали здесь по лужам крови, тысячи предсмертных вздохов витают в этом воздухе, в подземельях гремят барабаны конкистадоров, а я, потомок северных варваров, лежу здесь, усталый и размечтавшийся, в современном отеле, и совсем рядом на столике стоит моя портативная пишущая машинка, на которой

я должен записать свои впечатления. Да хранит господь ее вопросительный знак, ему-то достанется!

54

В подвале на Принц-Альбрехтштрассе стоят две длинные скамьи с поперечными перегородками. Здесь ты ожидаешь вызова на допрос или ждешь, когда тебя увезут, и в некотором отдалении от тебя того же ждут другие. У дверей часовой эсэсовец неотступно следит за тобой. Но тем не менее старосте Х., или Р., или Ф., которые делают вид, что ужасно заняты и торопятся, удается, проходя мимо, сунуть тебе газету. Замечательные ребята! Газета! Блаженство какое! Поскорей спрячь ее. В Шпандау она пойдет по рукам, десятки товарищей по заключению набросятся на нее: мы же ничего не знаем о войне.

Мы только знаем, что война идет, должно быть, никогда не кончится, и что нацисты одерживают одну победу за другой, и что наша жизнь, судя по всему, будет короче этой войны. Мы сделали все, что могли, против нее, но война оказалась сильней нас.

55

Оставшись в Буэнос-Айресе без гроша, я попал на пароход — нижняя палуба, конечно. Четыре недели питания и постель — и Атлантический океан. Человек сто нас лежало глубоко внизу, в железном трюме. То были люди, из которых выжали все соки, усталые и потерявшие себя, среди них много испанских сельскохозяйственных рабочих, сезонников. Началась качка, а с ней и наша беда. Должно быть, южане сильно подвержены морской болезни. А среди нас в основном были португальцы, итальянцы, испанцы, сирийцы. Дышать было нечем. Пароходство, наверно, думало: для бедняков и это сойдет. При тусклом свете нескольких маленьких лампочек стонали, мучались люди. Корабль трещал, винты грохотали, вытяжные вентиляторы ревели. Заснуть не было никакой возможности. И таких, как мы, пароход взял на

борт восемьсот человек. И все они, перебравшись с берега по бесконечным железным лестницам, разместились у самой кормы, где мотало больше всего. Нет, это было чудовищно! Дети плакали, страдавшие от морской болезни матери пытались их успокоить. Всюду груды тел. Экваториальный шторм нещадно гнал нас по волнам, порой нас обдавало дождем брызг. А ты стоишь у фальшборта с мокрым лицом, голодный-преголодный. Нам выдавали такую дурную похлебку, что однажды мы взбунтовались. Старший кок побелел от страха и обещал улучшить питание. Но тогда как раз и началась настоящая буря, и никакого улучшения так и не последовало. Однако никто из нас этого уже не заметил.

56

Меня лишили книг, бумаги и карандаша. В камере остались теперь только пакеты, которые я клеил. Это было самое тяжелое для меня время. Но так как я знал, что жить мне оставалось не больше двух-трех недель, то я находился в каком-то леденящем состоянии стоической отрешенности, какие бы издевательства ни обрушивались на меня. Но и тогда было что-то, служившее мне утешением.

Перед окном моей камеры росла береза. Стоял неземной по своей красоте октябрь. В окно высоко вверху на фоне поразительной голубизны почти итальянского неба я видел три ветки и филигранный узор золотой листвы. Я отмечал каждый падающий лист. Знал их все наперечет. Всего в восьми метрах от меня начиналась целомудренная и такая недосягаемая природа. Я и сам был частью ее. Наблюдая прекраснейшее умирание за окном, я примирялся с умиранием вообще. И еще меня утешали шахматы. Из кусочков оберточной бумаги я соорудил нечто похожее на шахматные фигуры, и Г. из соседней камеры играл со мной. Ходы мы выстукивали через стенку: «Ферзь — b 3 — c 4». Несколько минут спустя следовал ответ: «Рокировка». Но все это мы проделывали торопливо, очень тихо, чтобы никто нас не застиг.

57

Когда я в Куксхафене вошел в свою каюту, я обомлел. Здесь было все: ванная, ниша для чемоданов, стенные шкафы, стены были отделаны красным деревом, кресла обтянуты шелком, пол устлан толстым ковром. Расположена каюта была в срединной части корабля, на палубе первого класса, и мне, таким образом, досталось одно из лучших мест. На столе лежала карточка с золотым обрезом, приглашавшая меня принимать пищу за капитанским столом. Это было, разумеется, особым почетом. Были здесь и настоящие широкие окна, а также корзиночка с превосходными фруктами — грушами, бананами, гранатами. Ежедневно ее незаметно пополняли.

Сами трапезы происходили в роскошном салоне с позолотой и зеркалами. Во время обеда и ужина играл ансамбль скрипачей. Мужчины в смокингах, глубоко декольтированные дамы — все в драгоценностях. Стюарды, бесшумно скользя, предлагали одно за другим самые изысканные блюда. Затем мы смотрели какой-нибудь фильм или отправлялись в бар.

Как-то вечером я дошел по палубе до кормы и сразу почувствовал, как сильно сотрясают машины корабль, увидел внизу и людей, страдающих морской болезнью, и понял: там все так, как когда-то было со мной.

58

В моей подвальной камере мне нечего было бояться воздушных налетов. Как-то ночью бомба разорвалась совсем рядом и на одеяло упал осколок толстого стекла. Он больно ударил меня по ноге. Камера сразу наполнилась известковой пылью, дышать стало трудно, на зубах скрипел песок. На следующее утро открылась дверь и в ней, освещенное свечой, которую эсэсовец держал на уровне груди, показалось молодое симпатичное лицо. Последовал приказ выходить. Нет, мне не забыть лица этого человека с «мертвой головой» на лацкане, смотревшего на меня поверх пламени

свечи даже немного смущенно. Это был крестьянский парень из Южной Германии. В рождественском сверкании свечи его розовое, весьма упитанное лицо неожиданно как-то мило преобразилось. А ты, парень, мог бы стать вполне приличным человеком, попади ты в другие руки, подумал я. Но разве этого нельзя было сказать и о большинстве остальных?

59

Незадолго до премьеры моей пьесы «Подлодка С-4» я рано утром, после плохо проведенной ночи в поезде, очутился на площади перед театром «Фольксбюне», весь жаждущий славы, дрожа от охватившего меня любопытства. Громада здания высилась посреди широкой Бюловплац. Я вошел в вестибюль и оттуда — в зрительный зал. Там хозяйничали уборщицы, с типично берлинской грубостью тут же выпроводившие меня за дверь. Здесь театр, а не ночлежка, заявили они. Я поплелся в пивную у Шёнхаузер-Тор. Это было мое первое посещение берлинской пивнушки, где все немного грубовато, однако прямоты и искренности не занимать, и разговорился с рабочими. Около одиннадцати я уже был в дирекции театра, где застал Лео Ройсса. Все немного подозрительно оглядывали меня, никто не верил, что я и есть автор. Слишком молодо я выглядел, да и ростом маловат. А мне ведь уже было двадцать шесть.

60

Только что кончился допрос. В подвале я вышел из лифта, едва лишь сопровождавший меня эсэсовец открыл зарешеченную дверцу.

Здесь внизу ждал другой эсэсовец с другим заключенным. Эсэсовец был маленький, серенький, похожий на мышь, с острой мордочкой и мутными глазками.

А заключенный был X., наш главный. Высокий, стройный, лицо очень бледное. Это было незадолго до его казни. Голову он держал высоко и прямо, при свете лампочки, свисавшей с потол-

ка, поблескивал пробор. Что-то стальное и веселое было в его лице, и это невольно заражало. Он подмигнул мне, отвернувшись от своего провожатого. Я ответил тем же. На нем был такой же синий свитер под курткой, как на мне, на руках — наручники. Вот он стоит передо мной в гестаповском подземелье, молодой, талантливый, чистотой веет от него, он, словно вестник грядущего, прошедший через нацистское чистилище. И борьба, и муки — все позади. То были последние дни его жизни. Здесь, в подвале, передо мной стояла надежда немцев, отважная, чистая, юная. Накануне рождества немцы повесили его в Плётцензее.

В диалектической борьбе между заблуждением и истиной самое опасное — это полуошибки и восьмушки ошибки, втиснутые вместе с одной шестнадцатой истины в одно и то же предложение.

61

Да, это была Виргиния! Я сидел на меже хлопкового поля. Вдоль дороги росли клены. Небо синее-синее. Печет немилосердно. Нам в Европе незнакомо это странное, какое-то зыбкое и дрожащее освещение. Но и вдали все видно ясно и четко. И дышится здесь легче, и у людей гораздо больше света в глазах.

Потом я пошел назад, на ферму старого преподобного отца Грея, наполовину уже оглохшего, где меня встретили разъяренные индюки. Пэт сидела на деревянной террасе, лицо ее на фоне темного дерева казалось очень бледным. Она принесла мне воды со льдом. На ней было белое тонкое платье.



Мы не виделись уже три года. С самой Праги. «Пей»,— сказала она. И я пил ледяную воду и смотрел на нее. Какой-то чужой она мне показалась, ее аскетически-прекрасное лицо южанки с черными волосами на прямой пробор стало жестче, опытней. Нехорошо, подумал я, когда в лице женщины слишком много решительности. Ах, Пэт, подумал я, все прошло. Опустив на колени шитье, она смотрела на зеленевшие вдали луга.

— Да, вот она, Америка! — сказала она.

— Здесь все не так, как в Праге,— ответил я и тоже стал смотреть на зеленые луга.

— Совсем не так,— сказала она.

— Завтра мне надо быть в Нью-Йорке,— заметил я.

От росшей неподалеку живой изгороди доносился сладкий дурманящий запах. В доме слышался мечтательный голос негритянки-поварихи, напевавшей какую-то песенку...

62

Когда тебя принуждают проводить свои дни в наручниках, без книг, когда ты сидишь голодный в почти темной, нетопленной подвальной камере на табуретке, то тебя невольно начинают одолевать мысли о том, куда зашло человечество. Всего, что составляло твою жизнь, тебя лишили с изощренной изобретательностью. Ты и не видишь почти ничего — через узенькое матовое стекло в камеру проникает лишь слабый свет из коридора. Ты и не слышишь почти ничего, кроме гробового молчания, вечно царящего в этом подземелье. Ты ослабел от голода, едва не теряешь сознание от невыносимого холода, грязен, измучен и одинок. И ты пытаешься анализировать что-то, напрягая оставшиеся у тебя мыслительные способности, и приходишь к выводу, что метод этот смертелен: измотав тебя, он приводит к распаду личности. Бесшумно рушится и исчезает все, что составляет ее. Нацистская юридическая машина совершенна в своем стремлении уничтожить тебя. Я насчитал три этапа: первый — разрушение твоего уклада

жизни, второй — полное подавление твоей личности и, наконец, третий — уничтожение твоей телесности поелику возможно дешевым способом.

63

Близился вечер, и вдруг перед нами расступились джунгли... Мы увидели город. Он стоял посреди девственного леса, город, о котором я уже много слышал.

Но то была лишь половина его, нижняя половина; верхняя часть стен, крыши — все это давно уже рухнуло и обвалилось, и мы, увидев этот усеченный город, ужаснулись.

Бледно-зеленые силуэты руин убегали все выше и выше, покуда не сливались с сизым вечерним небом. Ни звука. Город был пуст. Ни души на улицах, никого в домах, никто не выглядывал в окно, лошади не ржали, мулы не кричали, ни одно колесо не вертелось, никто никуда не шагал, не свистел, за забором не лаяли собаки и птицы не пели. Город был тих и мертв. Серые полуразвалившиеся дома вытаращили свои пустые глазницы-окна. Жирные лоснящиеся крысы шныряли через дорогу. Гулко раздавался стук наших каблуков по мостовой. И надо всем этим высоко в небе повис огромный стервятник.

Мы только что вышли из леса, в ушах еще стоял гвалт потревоженных нами джунглей, легкие еще не освободились от их болотного духа. А здесь мы задохнулись, оглохли от мертвой тишины. Страх обуял нас.

Но кого это «нас»? Случайно забредших сюда внуков. А перед нами вздымались пыльные века. Мы молчали.

Мы шли по бесконечным улицам. Все двери стояли настежь. За каждым углом нам чудились хитрые рожи, тут же исчезавшие. Темнело. Тени сделались призрачными. С ужасом заглядывали мы в каждый дверной проем, в каждый закоулок, искали хоть кого-нибудь, душу, лицо, владельца или управляющего, но город скончался, скончался много веков назад.

И никому он не принадлежал, не с кого было и спрашивать, он скромно и тихо гнил. Город невозможно похоронить, его покидают, уходят куда глаза глядят. В бутылочно-зеленом свете луны поблескивали белесые стены. Бронзовые трубы неожиданно слепили глаза, в их металлическом блеске чудилось что-то угрожающее. Холодный ночной ветер скользил по нашим лицам.

Вот и все, что осталось от великих индейцев: скопище скелетов, слой метра в три, а над ними ветер — то налетит, то стихнет. Все. Привет первобытным жителям, немалый путь прошедшим, привет и длиннобедрым, большеглазым женщинам, дышавшим тем же ветром, что сейчас обвевает лица потомков. Привет!

Я пришел из мягких спокойных лесов Севера и многие годы провел в городах моей прохладной родины. Здесь меня иногда с улыбкой называли «гринго», варваром.

Да я и был им. И сейчас, когда город постепенно оживал, я в своем воображении слышал не глухие удары барабанов и золотых гонгов, а тихое позвякивание трамваев. Вспыхнули оранжевые неоновые трубки, сбегая по останкам домов. В окнах показались бледнолицые мужчины, одетые в смокинги. Автомобили катили по улицам стаями; переругиваясь, прохаживались мимо медленно загоравшихся огнями витрин семьи. Дети плакали. Надрывались динамики. Мужчины покупали газеты, воровали, творили суд и расправу, маршировали и пили. Женщины мыли лестницы, пели, вязали и любили. Всюду суета, город переполнен народом. Погоня за счастьем, но, прежде чем настигнуть его, люди с бледными ликами исчезали в могилах. Другие продолжали мучиться, великий город бешено умирал и зачинал. Он шумел, звенел, гремел.

Но здесь, в тропических джунглях, этот шум доходил до нас через фильтр столетий, как будто через толстое стекло.

Да и наш город там, наверху, город, что живет сейчас, в один из дней станет таким же тихим, как этот, живший когда-то. Развалятся трамваи, рас-

текутся неоновые трубки, господа в смокингах, вдруг побледнев, упадут, и наш город станет пустым и мертвым, как этот.

64

За все месяцы, проведенные в Шпандау, мы только раз мылись в бане. По недосмотру надзирателя возникла толчея и неразбериха. Два десятка голых заключенных не замедлили воспользоваться впервые предоставившейся возможностью переброситься словом. В густом пару под струями душа виднелись истощенные тела, шепот сливался с шумом и плеском воды.

П. спросили, что ему грозит. А он — его впоследствии казнили — ответил:

— У них нет никаких доказательств. Они должны меня оправдать. А потом отправят в лагерь.

Великолепно сложенный В. сообщил, что всех нас предадут военному суду. Рука его была обезображена многочисленными рубцами и швами. Во время очередного допроса, когда ему дали минуту на размышление, потребовав назвать сообщников, он разбил окно и пытался выброситься, прихватив с собой комиссара гестапо Хабекера. Кто-то объяснял тюремную азбуку для перестукивания. Согласовывались будущие показания...

Тихо журчащие разговоры, шум, плеск воды и крики беснующихся надзирателей сливались в один общий гул. В густом пару было трудно что-либо различить, тускло светили лампочки, да и слышно было плохо. Но для нас это был праздник. Мы хоть поговорили друг с другом. Хоть немного поговорили.

65

Несколько дней мне пришлось ждать в Пасадосе, покуда Эрнесто не сбыл свою кукурузу. Я фотографировал базар, где местные жители визгливыми голосами предлагали все и вся: дыни, циновки, кинжалы, дочерей, платки, овощи, цветы — должно быть, всю страну обобрали жаждущие барыша руки. Под дрожащим солнцем прямо

на земле было нагромождено все богатство народа, данное ему самой природой,— оно пылало, переливаясь всеми цветами радуги. Робкие широколицые индианки стояли за пирамидами фруктов, будто прислуживая им; креолки шумно переговаривались, копошились дети, торговцы старались перекричать друг друга.

И над всем этим неудержимо поднималось все выше и выше округлое светло-серое облако пыли, словно дым над жертвенным костром, где приносилась жертва барышу. Наползая на солнечный диск, оно загоралось золотом и уплывало на восток.

66

Когда двери уже заперты на ночь и в тюрьме остается только несколько дежурных надзирателей, во всем огромном здании воцаряется тишина. И как только погаснет свет в камерах, тишина эта делается мертвенной. Тогда из камеры напротив льется свист. Это свистит молодой, так любивший посмеяться светловолосый студент. Теперь уже многие годы он лежит в земле Плётцензее. А свистел он очень тихо и мелодично: «У акулы, у ней зубы...», и «Вперед, не забывайте...», и еще «Почему девчонки...», и другие мелодии, так легко и чисто разносившиеся по этажам. Иной раз мелодию подхватывал еще кто-нибудь и еще и получался полифонический хор с нежными верхними голосами. Стоило одной мелодии закончиться, как где-нибудь вдали возникала новая: «Все течет и все проходит, в марте Гитлера убьют, в мае все нацисты сдохнут...» — это была песнь надежды всех заключенных. И здесь, в заточении, пользуясь единственным инструментом — губами, люди, вскоре после этого все казненные, посылали небу свою тоску, свою надежду.

Как только по этажу приближались шаги, глохла одна мелодия за другой. И снова воцарялось жуткое молчание. После товарищеского хора, объединявшего их всех, после совместного печального музицирования каждый вновь возвращался к своему одиночеству, правда немного утешенный.

67

Я стою в краковском костеле. Воскресное летнее утро. Немного свежо. Набожные поляки в праздничных одеждах стоят на коленях. Глаза темные, восторженные, они забыли все на свете, кроме своего бога. Перед исповедальней очередь, ожидающие бормочут молитвы. Костел очень высокий, и где-то вверху звучит органное ларго. В среднем нефе — склоненные спины. Здесь молятся страстно, даже становится как-то не по себе: эта служба похожа на скрытое извержение вулкана...

Шла война, и немцы уже вывезли из краковского костела алтарь Вит Ствоша.

68

Однажды утром за дверью словно прогремел выстрел. Позднее мы узнали, что это староста сбросил перед каждой камерой тюк серой оберточной бумаги. Нам приказали клеить пакеты. Тогда-то я и научился тому, что позднее так пригодилось мне в каторжной тюрьме. Сидишь в нетопленной камере, голодный, нервы никуда, грязь, клопы, и клеишь пакеты, мажешь их отвратительным клейстером, складываешь, переворачиваешь — и так весь день, только бы выполнить норму. Порой услышишь отдаленный стук по трубам центрального отопления — это вызов, не мне, а соседу. Но все равно слушаешь.

— Алло, Франц! Г. приговорили к смерти.

— Вернера сегодня увели на допрос в гестапо.

— Завтра передам книгу.

— У кого сегодня суд?

Со всех сторон тихий стук — то в стене, то в трубах отопления, а за дверью на этаже — тишина, только изредка слышно, как где-то далеко кто-то спускается по железной лестнице или с характерным звуком падает волчок... Настоящее перестукивание начинается часов в семь, когда уже лежишь в темноте на койке и слушаешь. Только

кончат одни и затихнет глухой и близкий перестук, как начинается другой, торопливый, далекий и легкий, а за ним еще, робкий и нерешительный. Это стучала сама судьба, сама жизнь с ее бедами, но чаще всего то стучала смерть.

69

На кафедру Макс Шелер поднимался с какой-то небрежной рассеянностью. Первые фразы его лекции тонули в равнодушном гуле. Шелер рассеянно смотрел вниз, и вдруг его лицо, покрытое тысячью морщин, приобретало выражение предельной сосредоточенности. Морщины на лбу становились резче, сердитые глаза сверкали. Сыпались первые формулировки, четко и ясно определявшие предмет, голос звучал выше; перед нами стоял воодушевленный своей речью пламенный оратор. Мысли, рожденные его могучим мозгом, облекались в слова, в информацию, в учение. Лицо постепенно краснело, изумительные глаза делались светло-серыми, невидящим взглядом он скользил по аудитории.

Сотни карандашей шуршали в сотнях тетрадей, порой что-то потрескивало в отоплении. Совершенно неожиданно оборвав лекцию, Шелер, чем-то недовольный, выбегал вон.

70

Кабинет комиссара гестапо. Несчастного, небритого, продрогшего, тебя вводят и предлагают сесть у батареи. Напротив четверо штатских. Один из них, маленький, широкоплечий, лысый, с серым лицом и усиками а ля Гитлер, и есть твой комиссар.

Все они смотрят на тебя, а ты с каким-то парализующим чувством напряжения, трусости и упрямства ждешь, тихо повторяя себе: ничего не признавать, сразу не отвечать, быть начеку! Жарко. Отопление рядом, и такое горячее, что вот-вот загорится твоя одежда. Дышишь тихо и часто и

все ждешь, с какой стороны они на этот раз нанесут тебе удар. Комиссар спрашивает:

— Где находится Пауль Браун?

Молниеносно пытаешься вспомнить, что ты уже говорил о Пауле Брауне. Ты видел его только раз в пивной. Это ты показал, и это правда. Значит они не знают, где он? Значит, его еще не схватили. А ты — знаешь, где он, во всяком случае, знаешь книжный магазин, в котором он работает. А они — не знают, что ты это знаешь. Ты пожимаешь плечами и говоришь:

— Этого я не знаю.

— Подумайте хорошенько.

— Я видел его только раз, много лет назад. И после никогда не встречался.

Теперь они начнут угрожать или последует вопрос, ничего общего с этим не имеющий, затем неожиданно вновь вернутся к первому. Это, так сказать, ось, вокруг которой будет вертеться сегодняшний допрос. Нервы твои натянуты как стальные струны. Все в тебе сжалось от страха и настороженности. Руки влажные, холодные наручники причиняют боль. От жары ты вот-вот потеряешь сознание.

Комиссар наклоняется вперед и говорит как бы мимоходом, с эдаким подтекстом оскорбленной добродетели:

— Скажите нам, где находится этот Пауль Браун, и мы немедленно освободим вашу жену...

Жена — в тюрьме на Александерплац. Ты готов ради ее освобождения на все, но только не на это. Комиссар внимательно прочел наши письма и прекрасно знает, что каждый из нас готов отдать жизнь за другого. На этом он и построил свой план. Все четверо уставились на тебя. От жары и напряжения тебя тошнит. А может, навести их на ложный след? Но жену они выпустят, лишь когда схватят Пауля Брауна. Итак, ложный след отпадает. И тогда ты, невинно вскинув глаза, говоришь:

— Вы прекрасно знаете, что для жены я готов сделать все, но, к сожалению, я не знаю, где находится Пауль Браун.

Что же будет теперь? Разозлится? И опять все сначала? Их тут четверо. Но нет, все по-другому.

Один из штатских выводит тебя в коридор, где ждет с тобой минут пятнадцать. Потом комиссар кричит, не выходя из своего кабинета:

— Отведи его вниз, Филипп.

И тебя ведут в подвал, который сейчас кажется тебе почти родным, а затем отвозят на машине снова в Шпандау.

Человечество пролило море крови
и умножило свой опыт и свои знания
благодаря бесчисленным жертвам одиночек.
Наши знания добыты кровью и муками,
а ребенок заучивает это все
в какой-нибудь час по букварю.

71



Это произошло во время нашей поездки из Берлина в Мюнхен: в семь вечера нам надо было быть в мюнхенском Гертнерплац-театре, и в девять утра мы выехали на моей машине. Вечером Д. предстояло выступить там. В Тюрингии снег еще не сошел. Я держал в среднем восемьдесят, но в Тюрингии немного сбросил скорость. Мы поднимались по автостраде в гору, здесь были накатаны глубокие

колеи и снег показался нам каким-то странным. Д. сказала:

— Осторожно, пожалуйста!

Но вот подъем кончился, и дорога снова пошла ровная, однако снег был скользкий и сверкал на солнце, будто зеркало.

Мы пели, смеялись. Затормозить я уже не успел. Машину вдруг занесло, однако мне удалось ее удержать и выправить, и мы поехали дальше. Впереди лежал опрокинувшийся автомобиль: стекла выбиты, на снегу кровь, неподалеку стояло несколько машин. Кто-то наклонился над кем-то. Рядом высились огромные ели со снеговыми шапками. Мы поехали дальше, не останавливаясь, очень спешили. Еле-еле успели. В Мюнхене остановились в гостинице «Рейнишер-хоф». В наших безоблачных планах смерть, поджидавшая на опушке леса, была не предусмотрена. Час спустя публика неистовствовала — Д. танцевала Арлекина. Никогда она так не танцевала.

72

Во время допроса на Принц-Альбрехтштрассе мне передали посылочку. С нетерпением раскрыл ее, как только добрался до своей камеры в Шпандау. Посылка для заключенного — это рождество, упакованное в картон. Рассматривая дары, я вспомнил В. Он сидел через несколько камер от меня на том же этаже и не получил ни разу ни одной посылки, о чем шепнул мне на последней прогулке. Я разделил полученное — не поровну, себе я оставил больше, упаковал отобранное и надписал карандашом «IV а 2—X — Шпандау» и поднял волчок. Когда явился надзиратель — поразительно тупой немецкий чиновник,— я сказал, что мне на Принц-Альбрехтштрассе передали посылку для некоего X. Чиновник заподозрил неладное, подумав, что я хочу скрыть посылку и сам все съесть. Он отобрал у меня пакет и ушел,

В глухой тюремной тишине вдруг раздался окрик:

— Х., подойдите к глазку.

И я услышал, как щелкнул волчок. Должно быть, надзиратель отпер дверь, потом до меня донеслись обрывки разговора, дверь снова захлопнули, дважды повернули ключ, загремел засов и шаги удалились.

Через час В. по трубе выстукивал вопрос, не от меня ли посылка? Я ответил. Мы оба были очень довольны.

73

Наша молодежь после первой мировой войны оказалась в весьма плачевном положении. Воспитывали ее на сияющих идеалах, пичкали в школе всевозможными руководствами для дальнейшего жизненного пути — этическими, моральными, патриотическими, религиозными. Но когда она попыталась применить их в жизни, эти блистательные идеалы, эти героические постулаты оказались неприменимы. Они соответствовали разве что тому миру, который изображен в хрестоматиях для семейного чтения, для вежливых старичков, а в реальной, настоящей жизни они были ни к чему.

В реальной жизни свирепствовали голод, ненависть, коварство, царили чистоган и анархия. В этой жизни нужны были не благородные порывы юношей, а железная хватка. Черт его знает почему, но с этими идеалами в жизни ничего не получалось. Никуда они не годились, эти руководства к действию для образованных молодых людей из хороших семей.

Разве в школе нам хоть когда-нибудь говорили, что политический и биржевой курсы так зависимы друг от друга? Разве там учили, что политика и экономика тесно связаны друг с другом? Разве там объясняли, что политический курс определяют не только министры, но и промышленные тузы, концерны, профсоюзы, да и мало ли кто еще? Разве кто-нибудь нам говорил об этом? Никто!

Мы росли, как варвары. Да, мы знали, когда был Седан или сражение при Иссе. Обратите свои взоры назад, молодые люди! А вперед? Упаси боже! Разве что до Гёте, до классиков, ну а если повезет, то до Геббеля. Неужели молодые люди призваны служить лишь экспонатами в музеях своих отцов? К дьяволу! Не должны они этого!

Мы, студенты, боролись тогда за наши идеалы, мы очень старались, мы вертели их так и эдак, но ничего у нас не выходило. В конце концов мы стали проклинать эти навязанные нам залежалые идеалы. Обвели нас вокруг пальца, всучили старый, латаный-перелатаный товар. Воспитание и жизнь не соответствовали друг другу. Молодое поколение отправили на жесточайшую и сложнейшую борьбу, вооружив духовным оружием, которое и во времена крестовых походов сочли бы устаревшим. Нетрудно догадаться, каково было на душе у молодого человека того времени, когда он приходил к подобным заключениям, когда начинал понимать, что старшее поколение предало его.

74

Около девяти утра в гулком коридоре раздается голос старшего надзирателя: «Седьмой, восьмой, девятый! На прогулку!»

И сразу же гремят засовы, звенят ключи, хлопают двери, сначала где-то далеко, потом все ближе, вот уже хлопнула дверь соседа, а вот открывается и моя. Пугающе громкий, двукратный поворот ключа, скрежет засова, рывок... и перед тобой ненавистная красная рожа надзирателя. Одного из тех субъектов в мундире, которые с корректной жестокостью только «выполняют свой долг», дотошно соблюдают нацистские приказы в отношении тебя. Почти все эти типы беспощадны, бессердечны и глупы.

Выхожу из камеры и становлюсь у двери.

Огромный сумрачный коридор. Перед камерами стоят недвижимо бледные пленники гестапо,

выделившего для обвиняемых по нашему делу целое крыло тюрьмы в Шпандау — подвалы тюрьмы на Принц-Альбрехтштрассе оказались переполнены. Здесь мы отбывали так называемое предварительное заключение еще в нашей гражданской одежде, в зимних пальто — по тридцать-сорок человек на каждом этаже: офицеры, ученые, художники, молодые люди с горящими глазами — сырье для нацистской судебной машины. Словно ищейки, между нами снуют маленькие надзиратели, крикливые, старательные, вечно нас в чем-то подозревающие. Это самые подходящие минуты для передачи записок. Скатанные в шарик бумажки перелетают от арестанта к арестанту, их подталкивают ногой, а адресат нагибается за ними, делая вид, будто шнурок развязался.

Но вот звучит команда старшего надзирателя. Это настоящее исчадие ада, бешенство, облаченное в мундир. Калибан нацистской юстиции. Слюна запеклась в уголках его рта, команду он выкрикивает осипшим голосом, раскачиваясь на цыпочках, складки на брюках острые как бритва.

— Седьмой, на выход! Восьмой, за ним. Девятый, приготовиться!

И длинная вереница арестантов, сохраняя дистанцию в три метра, движется к выходу, окруженная со всех сторон соглядатаями, которые орут, изрыгая ненависть. Через небольшую дверь вереница выходит на тюремный двор — не больше пятидесяти метров в поперечнике,— по которому теперь друг за дружкой, на расстоянии трех метров, ходят тридцать шесть арестантов. Так они движутся ровно двадцать минут, по пять минут полагается на выход и возвращение. Но иногда раздается крик: «Кругом марш!», и цепочка движется в обратном направлении. Стена здесь в шесть метров, за ней еще один тюремный двор, где сейчас лают огромные полицейские псы, а там еще одна высокая каменная стена. Нет, отсюда не убежишь. Но сюда к тебе долетает солдатская песня. Где-то далеко они шагают и поют: «Постарайся забыть... чего тебе не изменить... тогда тебе счастливым быть».

75

В виноградниках под Неаполем я как-то спугнул очень красивую бирюзовую ящерицу — она грелась, распластавшись на каменной плитке, которой здесь выложили тропу. Я тихо сел в сторонке, и ящерка успокоилась, продолжая глядеть на меня своими сверкающими красноватыми глазками: недвижимая, хвостатая и такая прекрасная! Маленький приятный зверек греется на солнышке. Мы поглядывали друг на друга не без благоволения, покуда на тропе не показался босой рыбак, прогнавший нас своей песней.

76

Мы шагаем по кругу. Тридцать шесть арестантов гестапо, на земле — снег, дни серые и холодные. Передо мной идет В., голова гордо вскинута, позади обер-лейтенант в штатском — ему уже вынесен смертный приговор. Шагаем мы в ногу, как нам и приказано. Вот бывший министр в шляпе с широкими полями, лицо мужественное, задумчивое. Весь погрузившись в свои мысли, будто во сне, за ним идет врач-невропатолог, потом семнадцатилетний юноша, долговязый и неловкий. Сохранят ли нам жизнь, шепотом спрашивает он меня. Я бормочу что-то невнятное в ответ и немного погодя говорю:

— Выше голову, парень, американцы высадились в Марокко.

И он действительно поднимает голову. Это поэт. А вон полковник, тоже в штатском, очень бледен и смотрит все время в одну точку. Молодой светловолосый студент улыбается чему-то. Во внутреннем круге бредет, прихрамывая и опираясь на палочку, лингвист, владеющий четырнадцатью языками, прекрасный в своей стоической отрешенности. Полгода назад он пытался спасти одного еврея от самоубийства, но при этом упал и очнулся с переломанным бедром на асфальте. Полгода он пролежал в больнице, где гестапо и арестовало его. А вот идет маленький согбенный

человек — это рабочий. Он не поднимает головы, будто несет какую-то непомерную тяжесть. Вон еще один студент, очень юный, какой-то аккуратный и недоступный. Шагает он чрезвычайно тихо, словно он не от мира сего. И все они, точно в страшном кровавом сне, шагают по этому кругу, сознавая, что спасения нет. И круг этот — их последний раунд. Жизни пришел конец. Неделя, другая — и все. Но они ни о чем не сожалеют. Борьба их была благородна, и лица их и сейчас исполнены благородства. В них есть что-то прозрачное — они преодолели последнее, преодолели самих себя. Они испили боль до конца. В одиночной камере они выплакали все слезы, и теперь бунт собственной личности у них позади. Все они обречены на смерть, и большинство из них вскоре умрет. Из тридцати шести человек, шагающих сейчас по кругу, тридцать будут казнены, и врач-невропатолог, и студенты, и офицеры, и рабочий, и лингвист, и все остальные — почти все.

То марш мертвецов по кругу безысходности, то марш отважных сынов нашей родины, марш молчаливых по снегу. Еще зримо их дыхание в морозном воздухе, всех тридцати шести. Пройдет несколько недель, и весну увидят только шестеро, навечно отмеченных страданиями.

77

Римский Колизей не выходил у меня из головы все время моего заключения.

Посреди огромной арены, окруженной развалинами, стоит высокий деревянный крест. На том самом месте, где первые крестопоклонники принимали смерть от клыка льва или от меча. И крест, во имя которого они страдали, победоносно высится ныне там, где они приняли смерть мучеников.

Идея тем сильней, чем больше предсмертных вздохов сделано ради нее. Идею свободы возносят в небо Европы сотни тысяч павших во имя ее. Ибо это идея переустройства мира.

С трепетом смотрел я на крест посреди Колизея, победоносно возвысившийся через две тысячи

лет. Последующие столетия также будут чтить жертвы, принесенные во имя учения об освобождении обездоленных.

Чудовищно дорого приходится платить человечеству за свои новые идеи.

78

Перед тем как меня ввели в зал заседаний имперского военного суда, у дверей которого стоял часовой, я заметил дощечку: «Закрытое заседание».

Лысая голова стервятника в роговых очках над черной мантией клюнула меня:

— Я ваш официальный защитник. С делом я уже знаком. Ни о чем не тревожьтесь. Вы знаете, что в худшем случае вас приговорят к смерти. Еще увидимся.

Долгие месяцы добивался я, чтобы мне дали защитника. Вот и добился. Это были его единственные слова, обращенные ко мне.

Но слова эти мне никогда не забыть — они оказались всей моей юридической подготовкой к процессу, где решалось: жить мне или умереть.

Дверь открылась, и я вошел в зал суда.

79

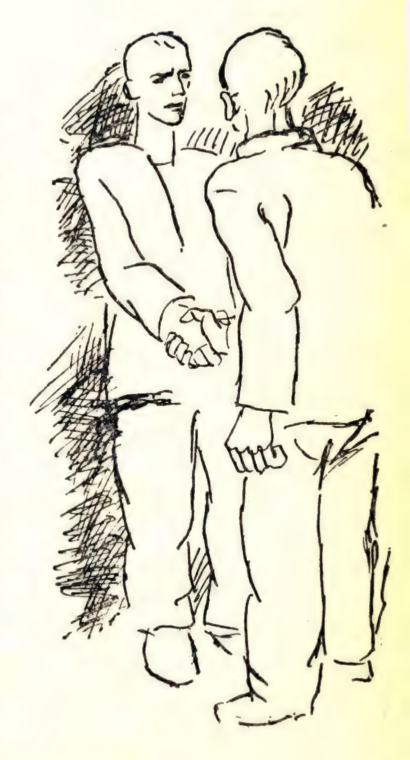
Капри. Лежу на огромной скале неподалеку от Пиккола Марина. Немилосердно печет солнце Южной Италии, шумит прибой, словно кровь стучит в ушах. Сколько дней уже лежу я вот так с закрытыми глазами между солнцем, морем и скалами, голый и одинокий. В Италии я не знаю ни души. Усталый, издерганный, приехал я сюда, снял комнату в Вилла Арджентина. Мне предоставили ночлег и питание, и весь день я могу спать и мечтать. Время от времени поднимаюсь, словно оглушенный жарой и сном, и прыгаю со скалы в голубую бурлящую воду. Перебесившись в воде, мокрый, задыхающийся, снова укладываюсь на свою раскаленную скалу. Чувствую, как подсыхает соленая вода в волосах и на коже. Дремлю и думаю, что счастлив.

Зал имперского военного суда велик и пуст. В самом конце восседает суд, состоящий из двух генералов, одного адмирала и еще двух офицеров. На возвышении — прокурор, ниже — защитник.

У входной двери за откидным столиком сидит скромное серенькое лицо в штатском, это гестаповский комиссар, что-то записывающий. Судьи тихо переговариваются, и слова их какие-то вкрадчивые, будто в лайковых перчатках. Мне указали, чтобы я отвечал «да» или «нет». Я-то думал, что смогу потребовать присутствия свидетелей, и действительно попросил вызвать двух свидетелей. Председательствовавший отклонил мою просьбу. Судья зачитывает показание, послужившее обвинением против меня. Я прошу очной ставки со свидетелем обвинения. Следует отказ — свидетель уже казнен. Стою перед судьями в весьма смехотворном виде, штаны все время съезжают — ведь пояс отобран, да и похудел я изрядно,— манжеты соскальзывают, запонки тоже отобрали. Бумаг у меня никаких нет, даже обвинительного заключения мне не показали. Пять бледных офицерских рож глядят на меня с той механической тупостью, с тем отсутствием интереса, с каким уставшие картежники смотрят из вагона-ресторана на рабочих-путейцев: «Ишь ты, вон тот, внизу, он еще борется за свою жизнь...»

Есть любовь к другому,
и есть любовь ко всем.
Первая любовь рождена природой,
вторая — цивилизацией.

81



Обед состоялся в Grill-room. Никогда меня не кормили столь торжественно. Под конец свет погас, и стюардессы внесли в зал освещенные изнутри шарики мороженого. Потом всем роздали детские пистолетики с ватными пульками. И тут же важные господа в смокингах и дамы в вечерних туалетах принялись обстреливать друг друга ватными катышками. Пресытившись изысканными блюдами, дорогими напитками, не слыша уже прекрасного испанского оркестра, игравшего танго, не замечая хрусталя, серебра*

* Ресторан, в котором мясо жарится в присутствии гостей.

и гобеленов, великолепные женщины и властные мужчины, так сказать, дали себе волю. Это и выразилось в бесшабашной перестрелке ватными шариками в холодную дождливую ночь, когда мы плыли через Атлантический океан. Разумеется, джентльмены метили в вырезы платьев, дамы визжали после каждого попадания, а джентльмены учтиво раскланивались с ними, сидя за своими столиками. Правила вежливости они прекрасно знали и вели себя безупречно, эти пассажиры первого класса, за которыми ухаживал и которых обхаживал весь корабль. Я-то хорошо знал, что в наши ярко освещенные окна сейчас с ненавистью поглядывали, как и я сам когда-то, пассажиры нижней палубы. И до меня тогда атлантический ветер доносил обрывки мелодий, и никогда мне этого не забыть...

Я выбрал себе хорошенькую блондинку, и мой ватный шарик попал чуть выше выреза. Таким образом я и познакомился с Е., дочерью настоящего миллионера, которая ошалела от одной мысли, что познакомилась с немецким писателем, и уж больше не отставала от меня. Это была стройная блондинка небольшого роста, очень милая и очень глупая, а ее толстая мамаша была только глупа. Обе решили непременно показать мне Нью-Йорк, а также непременно прочитать мои книги, я же решил изучить очаровательную дочку миллионера.

82

По требованию прокурора нас шестерых, дела которых были назначены к слушанию, вызвали в зал. Мы сидели на шести стульях далеко друг от друга посреди пустого зала, в котором гулко разносился голос председательствующего. Шесть обвинений предъявил нам полковник. Для пятерых обвиняемых он потребовал смертной казни. Когда среди пятерых он назвал и мое имя, я словно почувствовал облегчение. Наконец-то они оставят меня в покое! Я посмотрел на остальных — лица строгие и бледные. Только женщина заплакала. А ей грозило всего лишь тюремное заключение.

Когда суд удалился, мы наперекор всем запретам в первый и последний раз пожали друг другу руки. Тут же на нас надели наручники и увезли.

83

Накануне мы заказали санки и упряжку, которые должны были доставить нас из Цвизельштейна в Обергургль. У владельца лошадей опрокинулись тяжело груженные сеном большие сани, поэтому он позволил нам ехать в маленьких одним.

Узкая, крутая, совершенно обледеневшая дорога вилась над сине-зелеными ледяными пропастями, а справа почти отвесно поднимались скалы. Кругом — мертвая тишина, только удары копыт и тяжелое дыхание лошади впереди нас. Рядом со мной, укутанная в пледы, с ясными, цвета мёда сияющими глазами и резко очерченным красивым ртом, сидела она. Когда она смеялась, морозный воздух клубился у ее губ. Так мы ехали часа три, пока в конце концов благополучно не добрались до самой высоко расположенной в Германии горной деревушки, два счастливых, окоченевших от мороза человека и одна лошадь. Мы поднялись на две тысячи метров, всюду слепил сверкавший снег. Она смеялась, и зубы ее тоже сверкали, как снег. Я был счастлив.

84

«Джойкен моя — 4. 2. 1943, 9 часов 15 минут вечера.

Только что вернулся «домой», в камеру, после того как выслушал прокурора, потребовавшего для меня смертной казни. Весь процесс длился не более тридцати минут, не вызвали ни одного свидетеля. Да, все очень серьезно. Удивляюсь, почему я так спокоен и сдержан, даже пошутил с надзирателем, и все время думал о тебе, о тебе, женщине моей судьбы. Если уж мне суждено умереть, я пойду на смерть смело и молча. Сейчас война, одни умирают под Сталинградом, другие в Плётцензее. Как бы там ни было, мы теперь долго не

увидимся, но любовь наша не умрет. Она вечна, ибо она часть великой всемирной любви, которой мы с тобой служим и именем которой клялись.

Твой П.»

85

При ярком закатном небе мы летели на лыжах с высоты трех тысяч пятисот метров, где переночевали в избушке для лыжников. Скоро начало темнеть, и на снегу ничего уже нельзя было различить: ни выемки, ни бугорка. Часто падали.

Снег в сумерках посинел, на всем спуске нам не встретилось ни единого деревца, кругом могильная, возвышающая душу зимняя тишина высокогорья. Летишь по скрипящему под лыжами снегу, и рядом летит твоя любовь — стройная, нежная, отважная. Вечернее эхо далеко разносит наши редкие слова. Говорим мало.

86

Настало утро, когда мне должны были объявить приговор. Эсэсовец снял с меня наручники, чтобы я мог прибрать в камере и позавтракать. Потом снова надел. Проходивший мимо староста шепотом спросил:

— Тебя сегодня опять увезут?

Я кивнул.

— А чего потребовал прокурор?

Мне стало почему-то неловко. «Смертной казни»,— ответил я. Староста кивнул. Он тут всякого нагляделся. По его лицу я понял — смертный приговор он считает делом решенным. Но почему-то это меня даже утешило. Когда приходится умирать многим, то и каждому в отдельности умирать легче. Наконец-то я успокоюсь, кончатся мои мучения, страхи, борьба. Во всяком случае, это что-то определенное. В умывальне я попросил надзирателя разрешить мне помыться под душем.

— Это еще зачем?

— Мне сегодня объявят приговор.

Староста пошептался с надзирателем, и он разрешил. Потом вместо обеда староста вручил мне завернутые в грубую оберточную бумагу два куска хлеба, намазанные маргарином.

— Смелей, парень, скоро конец этой сволочи, и тогда настанет наше время,— шепнул он мне.

— Но нас-то тогда уже не будет,— ответил я.

Никакой смелости я не ощущал, а просто какое-то напряжение. Когда меня в наручниках увозили в суд, я ничего умней не нашел сказать, как:

— Поехали причащаться...

Во всяком случае, я успел выспаться и принять душ.

Поднимаюсь по узкой лестнице, эсэсовец — за мной. А здесь, наверху, изумительное морозное утро. Слепит солнце.

87

Верхом на Басне я добрался в пампе до места, где росла особенно нежная трава. Соскочил на землю и отпустил лошадь пастись. Было очень жарко, не меньше сорока пяти градусов по Цельсию. Лежу в густой пыльной траве пампы, красноватой и сухой. Звон цикад заглушает все звуки, только слышно, как рядом жует лошадь. Темно-синее небо Аргентины сияет над бесконечной степью и двумя затерянными посреди нее живыми существами. Порой лениво дующий ветерок доносит до меня запахи пасущейся лошади. Далеко-далеко на пологом холме стоит старое хинное дерево; освещение такое яркое, что отсюда можно различить каждую веточку в причудливой вязи его кроны.

До ближайшей фермы четыре часа езды верхом. Набираю травы посочней, подзываю свою Басню. Она медленно подходит, обрывая отдельные травинки и с любопытством поглядывая на меня. Протягиваю ей сочные стебельки — всю сушь я аккуратно выбрал. Кобыла с благодарностью ест из рук. Собираю еще. Басне нравится — подавай еще, а когда я мешкаю, она подталкивает меня в плечо своими мягкими губами, и я

снова тороплюсь нарвать ей травы. Вот она стоит — высокая, поджарая, такая красивая на фоне синего неба. Стремена тихо покачиваются. Мы с ней совсем одни на этой бесконечной равнине, где гуляет ветер Южной Америки. Не слышно ни звука. А мы рвем траву и счастливы. Оба.

88

Одним из самых отважных и хладнокровных борцов Сопротивления, с какими мне довелось познакомиться, был доктор Филипп Шеффер, по образованию лингвист. Он уже отсидел более пяти лет в каторжной тюрьме за то, что возглавлял подпольную студенческую группу «Красный штандарт». После этого, живя уже в Берлине, он однажды попытался спасти от самоубийства одного еврея, но при этом сорвался вниз и полгода пролежал в больнице. В связи с нашим делом был арестован вновь. На прогулку он выходил с костылем.

Товарищи его молчали, и гестапо не могло ничего доказать. Тогда его обвинили в том, что он не донес на подпольную организацию. За это полагалась смерть, так как он ранее был осужден за «государственную измену». Доктору Шефферу предоставили последнее слово.

В пустом зале заседаний он сидел напротив судейского стола, за которым восседали немецкие офицеры, широкоплечие, обвешанные побрякушками, высокомерные, властелины над жизнью и смертью, всемогущие генералы нацистского рейха. А в десяти метрах от них сидел Шеффер, совсем один, искалеченный, худой и голодный. Он с трудом встал и обратился с последним словом ко всему миру за стенами:

— Господа, меня спросили здесь, почему я не донес об этом деле. Отвечу: я не состою на службе в полиции.

Все. Он сел.

А ведь он знал, что там, за стенами, его никто не услышит. Здесь все было «секретно». Я сидел рядом и слышал его великолепное последнее слово. Как сейчас, вижу его скорбную, будто изви-

няющуюся улыбку на одухотворенном лице, когда мы в последний раз пожали друг другу руки. Вскоре после этого его казнили.

89

Один из самых красивых мостов в мире — это мост через Гудзон. Когда вечером едешь из Манхэттена, он парит перед тобой, легкий и серебристый в закатных лучах, будто траектория броска — изящный, элегантный великан, перекинувшийся через широкий, темноводный Гудзон. В мостах есть что-то захватывающее. А этот особенно красив. Кстати, он и самый большой в мире или второй по величине, да не все ли равно.

90

Один раз в неделю нам выдавали из тюремной библиотеки книгу. В одной из них я натолкнулся на статью, в которой рассказывалось о судьбе одного промышленника, владельца мясокомбината. И тогда я вспомнил, как легко и свободно публика воспринимает сложнейшие коллизии у классиков, будь то в «Дон-Карлосе», «Макбете» или в другой вещи. Перед нашими глазами на сцене разворачиваются братоубийственные войны, заговоры, борьба за престол. А почему бы, подумал я, не показать, не описать наконец-то коллизию, типичную для нашего времени, скажем какую-нибудь чудовищную биржевую спекуляцию, решившую судьбу бесчисленного множества людей? И я тут же набросал план — незадолго до этого я как раз обзавелся клочком бумаги и огрызком карандаша. За четырнадцать дней драма «Вавилон» была готова. Все эти дни я находился в гестаповском подземелье, где царила мертвая тишина. Брошенный временщиками в темную камеру, полуслепой, я за это время не произнес ни единого слова. Однако работа подарила мне светлое чувство радости в моей темнице. Забыв о Европе, войне и о своем собственном бедственном положении, я писал и писал.

Но драма не стала моей лебединой песней. Готовая рукопись вместе с моим чемоданчиком несколько лет пролежала на вещевом складе тюрьмы Луккау. Сразу же после Освобождения я прежде всего бросился искать ее. Табак и трубка исчезли, но рукопись была цела. И именно ее я прижимал к себе, когда на облепленном людьми паровозе ехал в Берлин.

Счастье — это антипод одиночества, глубочайшее самоосуществление личности.

91

Первое, что я понял тогда в Южной Америке, было: я лично несовместим с этим континентом, не в состоянии раскрыться в нем. Я был европейцем, мои чувства, мои взгляды были тоже европейскими. А в нас, европейцах, заложены кое-какие предпосылки, кое о каких вещах мы спорили ночи напролет, будь то о Шелере, Мейснерской программе, музыке линеаристов, о Ньюмене, о плотности населения или о проблемах промышленного производства. В Европе мы привыкли постоян-



но чувствовать поблизости других людей, там мы постоянно соприкасались, терлись друг о друга в многословном, перегретом вихре, жили как часть определенного порядка, и тысячелетия циркулировали в наших жилах.

Кант, Гегель и Аристотель занимали наши умы, монады Лейбница будоражили наши нервные узлы, мы проклинали свирепых пап, сражение в проливе Скагеррак ускоряло наш пульс, оды Пиндара мы с издевкой выкрикивали навстречу южным ветрам. Августин был для нас давно уже мертв. Ветхий завет и походы норманнов, Хенгист и Хорза, «Калевала», Томас Мюнцер в клетке, голые ведьмы на кострах, дым от горящего мяса, поднимавшийся над нашим родным краем, войны, предательство и убийства, триумфы, поэты, как трагические маяки над пропитанной кровью землей, Ленин и Уитмен — все это наложило отпечаток на наши мозговые извилины. Мы жили в центре самого холодного и самого изощренного континента, перегруженного традициями. Тесновато было там наверху, в Европе, перенасыщенно и очень суетливо.

А здесь — дикость и безлюдье, что я довольно скоро обнаружил во время моих поездок. Вместо городов — леса, окруженные бесконечными холмистыми степями. Лица людей — окаменелые, ведь их никто не подгонял, они жили тихо и скромно, они были частицами времени, дремлющими в безвестности. Они населяли такие огромные пространства, что им приходилось ехать верхом целый день, чтобы добраться до соседа. По существу, они не знали денег. Говорили мало. Они перегоняли свой скот, варили мате, ночью лежали рядом с женой под одичавшим звездным небом тропиков, а кругом звенели цикады. Много миновало дней, прежде чем утих шум европейской суетливости в моих жилах и пульс мой начал биться в медленном темпе тропиков. На меня производило огромное впечатление, что здесь куда-то исчезали все*

* Чай из молодых листьев растения того же названия.

теории, всякая проницательность и всякая критика. Возбужденный мозг успокаивался, мятежное сердце молчало. В то же время бесконечная тишина этого дикого края давала немалую нагрузку нервам. Внезапное исчезновение шума смущало слух и мозг, в молчаливости великой природы ты склонен был усматривать коварство. Я сам из деревни, но на прирейнских полях никогда не бывает такой мертвенной тишины, как на равнинах Южной Америки. Здесь ты не слышишь ни лая собак, ни далекого скрипа тележных колес, ни жаворонка в небе, здесь только мертвое, чудовищное молчание и полуденный зной.

92

Рывком открылась дверь, и я увидел заключенных, сидящих между койками,— меня перевели в общую камеру гестаповского подвала. Староста указал мне койку, и пошли расспросы. Меня словно оглушило от этого множества людей, их испарений, шумных голосов. С отсутствующим видом я отвечал:

— Из соседней. Из одиночки.

— Сколько ты там просидел?

— Девять месяцев.

— Да...

Должно быть, это показалось им много, да и впрямь, если смотреть на это ретроспективно, то действительно много, но мне там ничто не мешало, я был один со своими мыслями. И жил я там в каком-то особом мирке, камера была перенаселена всевозможными вопросами, конфликтами и образами, рождавшимися в моей голове. Я пережил чудовищно много, и сегодня мою камеру покинул совсем другой человек, непохожий на того, который когда-то, объятый страхом, впервые переступил ее порог.

— И говоришь ты как-то чудно́.

Все рассмеялись. Я смутился. И правда, произнесение слов давалось мне с трудом. Но прошло всего несколько минут, и язык заработал без всяких затруднений. Интересно. За редкими исключе-

ниями, я девять месяцев подряд молчал. По своей камере я за это время прошел около трех тысяч километров. Должно быть, приобретаешь какой-то особый опыт, если двести семьдесят дней можешь рассчитывать только на самого себя: не у кого спросить совета, никто не подбодрит, ни от кого не услышишь ни слова! Все аргументы ты должен вынесить в себе самом, все вспышки преодолеть сам. И все — без слов.

93

В Лондоне меня поместили в Каннот-клаб на Марбл-Арч. Это был большой и солидный клуб.

В библиотеке я обратил внимание на пожилого джентльмена, стоявшего перед камином и неотрывно смотревшего на огонь. Примерно каждую минуту он делал легкое приседание, дважды хлопал в ладоши, которые до этого держал за спиной, и довольно мрачно оглядывался, хмуря при этом свои белесые брови. Продолжалось это примерно час — за это время я прочитал все газеты и ушел.

94

Когда меня перевели в Моабитскую тюрьму, я впервые увидел уголовника. Омерзительная камера для вновь поступающих, где о прусской грязи ярчайшим образом свидетельствовали и стены, и матрасы. Неожиданно в камеру втолкнули новенького. Он плакал. За пять минут до этого ему вынесли приговор. Тридцати пяти лет, большого роста, сильный, брюнет с мрачным лицом. Он оказался шофером, купившим три литра водки с рук. Должно быть, он говорил правду, он был еще слишком взволнован, чтобы лгать. Дали ему три года. Сев на парашу, он сказал:

— У меня дизентерия. Элли! Где моя Элли? — ломая руки, стонал он все в той же позиции.— Что скажет моя Элли?

В отчаянии он мотал головой, громко причитая:

— Три года! Где же тут справедливость? За что? Как же так?

Сидя на параше, он рыдал, жалея свою Элли. Все стены были в следах от давленых клопов. Он лег на койку, а я на голый пол, закутав голову пальто,— уж очень этот новенький стонал. А у его Элли, должно быть, уши горели.

95

Самая знаменитая женщина на Капри — Мария. Живет она у своего отца Винченцо и красива, как богиня. Все спешат навестить ее, и в книге для записи гостей я видел такие имена, как Эдда Муссолини, сэр Джон Саймон, Герман Геринг, Хайле Селассие и т. п. Мария сторожит скалу Сирена, ей около тридцати лет, плавает она, как щука, у нее темная загорелая кожа, золотистые глаза и явно не итальянское хладнокровие. По вечерам я ужинаю у Марии на маленькой террасе. Она подает мне рыбу и бутылку с густым местным вином, садится рядом. Мы всегда с ней одни, иногда идем вместе к скале, сидим, слушаем прибой, болтаем о том о сем. Мария — умная женщина, выросла она в тени скалистых берегов Монте-Соларо. Красота ее столь поразительна, что одна знаменитая актриса увезла Марию с собой в Лондон. Но Мария затосковала по родине и спустя полгода вернулась. Теперь она ждала, когда у нее появится жених. Как-то она пошла со мной в кино, прихватив, разумеется, сестру, но для местных это была настоящая сенсация. Семья ее потом еще долго говорила об этом.

Выросла Мария на морском ветру с грохотом прибоя в ушах, на склонах, поросших цветами. У нее была самая красивая фигура на острове. Когда она купалась, англичанки и немки не могли оторвать от нее прищуренных глаз. А когда она, смеясь, выходила из голубой прозрачной воды и капельки сбегали с ее золотой кожи, разговоры на Пиккола Марина смолкали. Так она и жила, дочь Средиземного моря, красивая, породистая, с бездонными глазами и той грацией, которой мы можем только дивиться. И сейчас вижу, как она ша-

гает меж цветов, робко и неслышно, будто овеянная двухтысячелетней культурой, нежная и одинокая. Католичка к тому же.

96

В первых этажах Моабитской тюрьмы были расположены камеры с красными волчками, камеры смертников — немцев, норвежцев, французов, чехов, итальянцев, поляков, голландцев. Всем им уже был вынесен смертный приговор, их ждал Плётцензее. Как только кого-нибудь из заключенных с верхних этажей приговаривали к смертной казни, его немедленно переводили в камеру на первом этаже. Вечерами, возвращаясь после выноса параш, мы видели смертников, стоявших в рубашках у дверей. Надзиратели застегивали им на спине широкий моабитский ремень, к которому спереди накрепко припаяны наручники. В этих камерах не гасили на ночь свет, глазок всегда оставался открытым, так что дежуривший ночью надзиратель в любую минуту мог видеть заключенного. Все эти меры должны были предупреждать самоубийства. Ах, как трогательно подручные «народного суда» заботились о том, чтобы никто из нас не наложил на себя руки! Это противоречило бы уставу, а они следовали уставу рабски, педантично, грубо и жестоко, эти немцы в мундирах, «выполнявшие только свой долг».

97

Сидя в кафетерии на углу Авенида-де-Майо в Буэнос-Айресе, я, чужак-северянин, размышлял над жизнью этого южного края, и мне вдруг пришло на ум, что Юг всегда был гораздо больше, чем мы думали. Он всегда был более свиреп, но не так жаден, как Север. Мистическая ненасытность Севера, хмельная его кровь, колонизаторская жестокость закабалили весь мир. От орфического трепета белых содрогались меридианы. Железная пята маленького европейского континента оставила свой след на долгом, полном алчности пути, прой-

денном всеми расами. И начинался этот смертный путь с колючей проволоки, водки и миссионеров. Сам воздух обрел тогда вкус крови. И запах горелого мяса витал над всеми благородными порывами. Охваченные страшным, трагическим сном, белые вторглись в тучные джунгли и в бесчисленных конкистадорских походах подчинили себе миллионы цветных. И была-то их всего небольшая кучка! Но действовали они будто во сне, диком, кровоточащем сне об увенчанной золотом власти. История европейца в тропиках — кошмар, и глиняные ноги его покрыты красным лаком от пролитой крови. Извержение Европы останавливалось лишь перед непроницаемостью Зеленого ада.

И в самом сердце до этого не тронутых джунглей сидели мы, пили и воображали, будто открыли самую суть тропиков. Мы мнили себя познавшими вакхическую царственность Зеленого ада, с его напрасными и столь кровавыми жертвами и коварством, притаившимся под покровом прекрасной летаргии. Никто не отваживался признаться в этом другому, однако мы неустанно думали о тайне, разверзшейся между Севером и тропиками. Мы, кого занесло в эти места, пытались вкусить разницу, докопаться до знаменателя, с тем чтобы там, наверху, в Европе, решить наконец эту загадку и развеять суеверие, преподносимое в ярких путеводителях для путешественников.

Скоро мы поняли, что эксцессы ранней Европы объяснялись ненасытностью, той дикой, подобной дурману жадностью викингов, которая низвергла их, как тысячи коршунов, на голых детей тропиков.

История же этих тропиков не ведает захватнических походов. Они рвали на части самих себя, играючи, не ведая цели. Красный дым, поднимавшийся над кровавыми жертвенниками, стремился к неземным вершинам, дабы достигнуть неведомых богов и завоевать небо. Выплескивавшаяся через край природа низвергалась в пропасть тропической смерти.

Нигде люди так не жестоки, как в тропиках, и нигде они так не готовы к приятию смерти. Рож-

денное тропиками не сражается. Клык сильнейшего, вонзающийся в глотку слабого, настигает, будто рок.

Борьба за существование — это производное от ржаного поля, скупой земли, которая должна прокормить столь многих. Девяносто процентов всех видов растений тропические. Из этого вытекает, что избыток смягчает желание захватить чужое. Рожденное тропиками не сражается.

98

Когда меня в Моабите назначили помощником старосты по этажу, начальник моего отделения С-4, маленький шустрый унтер, не причинявший нам зла, спросил, не говорю ли я по-французски. Я ответил утвердительно.

Тогда он дал мне лист бумаги и повел в камеру, где находились три молодых француза.

— Переведите!

Это было обвинительное заключение. В нем утверждалось, будто шестнадцать французов, сговорившись, бежали из лагеря и, взломав несколько магазинов, похитили продовольствие. Трое из этих французов теперь стояли передо мной, трое молодых, красивых и интеллигентных парней. На них были только брюки — летом здесь, наверху, всегда невыносимо жарко. Они очень внимательно слушали мой корявый перевод. Как только я умолкал, в камере воцарялась тишина. Три пары темных сверкающих глаз на бледных лицах не отрываясь смотрели на меня. Читаю последние слова: «Учитывая состояние тотальной войны, тяжесть преступления влечет за собой смертный приговор».

Когда я кончил читать это отвратительное произведение чиновничьего языка, на обнаженной груди стоявшего ко мне ближе всех француза запульсировала кожа. Сердце молодого человека стучало под ней, билось в диком темпе. Все трое тяжело дышали, у всех выступил пот.

— Ne soyez pas tristes, nous tous sommes des camarades *,— добавил я от себя.

* Не унывайте, мы все товарищи *(франц.)*.

Один из них выдавил:

— А что нам было делать? Мы бежали. Пробрались в Берлин. Голод нас совсем замучил. А это страна наших врагов.

Я не стал переводить этих слов унтер-офицеру, когда он спросил меня, о чем они говорят. Вечером при раздаче похлебки я выдал французам добавки. Прошла неделя, и их всех увезли в Плётцензее.

Но я никогда не забуду, как в тот день под голой кожей билось сердце отчаявшегося молодого француза, теперь уже давно истлевшее в немецкой земле.

99

Я стоял на крыше самого высокого здания, какое когда-либо было построено людьми, прекрасно сознавая, что высотой оно только триста пятьдесят метров, что в нем около ста этажей, и что подо мной двадцать тысяч всевозможных контор, разместившихся в этом Эмпайр стейт билдинг, и что здесь наверху дует сильный штормовой ветер.

Подо мной простиралось бесконечное светло-серое бетонное море, покоящееся на базальте Манхэттена. Это был самый большой город мира, крыши которого убегали на восток до синей Атлантики, а на западе рассекали горизонт своими величественными силуэтами — впечатляющая картина американской отваги и энергии. Видел я отсюда и реки, и множество мостов, целые леса небоскребов. В лучах заходящего солнца сверкали тысячи и тысячи окон, а дома стояли, будто молчаливое сборище гигантов, выползших из океана и теперь таращивших глаза на землю. Посреди города торчали трубы и мачты огромных пароходов. Начало темнеть, и сразу же разлился океан света и затопил в конце концов все море домов, сверкавшее миллионами окон. Ветер завывал. Далеко внизу свистели полицейские. В пропастях улиц трогались с места стада автомобилей и внезапно снова останавливались. Все это вместе рождало чувство чего-то возвышенного и ощущение счастья от сознания сил человеческих. Невероятное способен

сотворить человек, думал я, спускаясь в лифте. И, словно зарядившись отвагой и энергией, вышел на улицу.

100

Из тюремной записки:

«Следственная тюрьма, Моабит, 15.VII.43

Наконец-то я в светлой чистой камере, чувствую себя хорошо. Сегодня пришил девяносто шесть пуговиц к брюкам военного образца, просвистев при этом все наши песни. Из того мира, где живете вы, сюда ко мне на четвертый этаж доносится писк стрижей да еще визг трамвая. Вижу отсюда тучи, нависшие над городом. И именно там где-то моя жена, совсем одна и такая храбрая! Я горжусь тобою. Ты справишься, правда? Скоро год, как я сижу в одиночке, и каждый день этого года был очень долог и тяжек.

Но теперь, когда вокруг не темно, как прежде, я ожил, и в голове у меня звучит музыка. Никто и не подозревает, как важен свет. Моя новая страсть — адажио Пятой симфонии, выстукиваю его на откидном столике моей камеры, и еще фуга ре-минор и изумительная «Лунная соната» — все это я знаю наизусть. Так я и провожу последние недели или бегаю взад-вперед по камере. Изберу себе какую-нибудь тему для размышлений и не отклоняюсь от нее. Стоит только начать думать — не оторвешься».

Каждый человек рожден женщиной,
пройдется немного
и уйдет под землю.

101

Кто-то из друзей однокашников без моего ведома переслал одну мою раннюю пьесу руководителю бохумского театра. Неожиданно получаю письмо из Бохума: театр намерен поставить пьесу. Велик же был мой испуг! Весь вечер я бегал по боннской набережной Рейна — мне ведь было всего двадцать три года. Потом я написал в театр, что пьеса моя еще не готова и ее нельзя ставить. Весьма сожалеем, ответили мне, возвращая рукопись.



102

Записка из тюрьмы:

«Моабит, 21.VII.43

Помнишь, как мы тогда забрели в рожь, помнишь, как пили старое вино, как спали после обеда? То есть я-то не спал, я читал и смотрел, как спишь Ты, но только чуть-чуть, осторожно так смотрел, чтобы не разбудить Тебя. Какое-то особое чувство охватывает тебя, когда смотришь, как спит человек, которого любишь, видишь его чистый лоб, осененный безмятежным сном, и алые, совсем девичьи губы. Ты спишь тихо-тихо, не слышно дыхания, даже страшно делается. Ты где-то далеко, где-то коснулась вечности. Вот дрогнула Твоя рука рядом с лицом. Я тогда очень любил Тебя, любил покорно и целомудренно. А великие пиры нашего супружества? Наше неописуемо прекрасное торжество сердец, когда мы сливались воедино, когда мастерскую освещали свечи, сладко лились неземные звуки каватины и в нас самих горело вино, а крохотное пламя свечей отражалось в твоих ясных золотисто-карих глазах.

Немалым горем мы заплатили за наше счастье, но чем злее была ко мне судьба, тем шире раскрывалось мое сердце ласке, любви, поэзии. Сражение сыграно, и я смело могу сказать: я держался достойно. Теперь в этой светлой камере, где я постепенно оттаиваю — как будто я родился во второй раз,—все кошмарные сны и видения и днем и ночью снова проходят перед моим внутренним взором, покуда не оторвутся от меня и не исчезнут понемногу. Я ведь переживаю все как художник и потому так болезненно вижу все тысячью глаз в тысячах ракурсах. Все эти месяцы мне не с кем было словом перемолвиться, и меня придавила леденящая энергия насильственного напряжения, только теперь я начинаю понемногу жить».

103

Его звали Эберле. Мы подвезли на грузовике его самого и его десять ящиков. Ехали мы до полудня, пока не нашли наконец место, где он купил

землю — сто шесть гектаров травы и кругом трава, сколько хватал глаз.

*— Вот здесь,— сказал управляющий. Машина затормозила, мы сгрузили ящики и скинули вслед забытое им пальто. «Hasta la vista!» *— крикнули мы и укатили. Маленький Эберле стоял среди своих ящиков и махал нам, совсем один в этой бесконечной травяной пустыне, казавшейся красноватой при полуденном солнце, эмигрант из Швеции, задумавший здесь, в Аргентине, создать свою ферму.*

Восемь дней спустя я поехал к нему верхом. Два индейца, копавшие колодец, только что нашли воду, в стороне одиноко стоял сколоченный из досок сарайчик. Всячески выражая радость по поводу моего приезда, Эберле пригласил меня на мате.

Через день ему должны были пригнать коров, которых он купил примерно по двадцать марок за голову. Вечером мы еще долго сидели у очага, сооруженного из глины и привезенной чугунной плиты.

— Как думаешь, справишься? — спросил я его.

— Чего там, не пройдет и года, как ферма будет готова,— ответил он,— а года через два женюсь.

104

Мне часто приходилось носить из моабитской кухни через все этажи вверх по лестнице, в отделение С-4, бак с похлебкой — примерно семьдесят литров жидкости. Носили мы его с нашим коридорным старостой — фельдфебелем санитарной службы из Потсдама. Как-то раз на железной лестнице с дырами в ступенях, кстати из-за воздушных тревог всегда полузатемненной, мы встретили пожилого заключенного, бледное безбородое лицо которого слабо белело при тусклом свете. Мой напарник спросил его, что новенького. Тот ответил с какой-то безнадежной, выражавшей внутреннюю боль улыбкой:

— Отклонили, дорогой, отклонили...

---

* До свидания *(исп.)*.

— Когда ты узнал?

— Сегодня в обед... Ходатайство не может быть удовлетворено...

— И что ж теперь?

— Может, сегодня вечером увезут...

И снова какая-то конфузливая добрая улыбка скользнула по его невыразительному и такому будничному лицу. Это было одно из тех лиц, которые обычно неподвижны, замкнуты, редко оживляются; они, как правило, не привлекают внимания, но в них так много покоя. Как сейчас, вижу его стоящим на ступеньку ниже нас, лицо обращено вверх, бледное, с большими глазами, как бы говорящими: «А что я могу еще сделать?» — пожилой человек в синей тюремной одежде, повязанный белым фартуком — знак привилегии старосты.

— Надо идти,— сказал он.— Успеть бы починить часы в В-2. Хорошо бы успеть.— И мы расстались. Мой напарник объяснил мне, что это моабитский часовщик, он послал ходатайство о пересмотре дела, по которому его приговорили к смертной казни, но ходатайство отклонили. В тот же вечер его увезли на казнь. Так и «не успел» починить часы в В-2.

105

Мы шатаемся по Мотт-стрит, в китайских кварталах Манхэттена. Хюльзенбек и я. Здесь все, как в Китае, многие мужчины даже с косами. Магазины и лавки — китайские, ломятся от овощей, поделок из слоновой кости, всевозможных шапок, обуви, с как-то по-особенному изогнутых крыш свешиваются длинные полотнища, на них лозунги и речения. Китайские кинематографы приглашают зайти. В каком-то древнем подвальчике мы едим очень вкусное блюдо. При этом у нас завязывается разговор с маленькой китаяночкой — дочкой чрезвычайно услужливого хозяина заведения. Мы расспрашиваем ее о Китае, а она, вскинув на нас свои черные красивые глазки, отвечает, что в Китае гораздо лучше, чем в Нью-Йорке. Правда, она никогда там не была, но со временем

обязательно поедет, а потом она ведь в отряде бойскаутов.

Девочка стояла перед нами, маленькая, тоненькая, с таким чистым китайским личиком и сизо-черной копной волос. Надо сказать, что маленькая китайская дама нам очень понравилась. Было в ней что-то трогательное, чистое, хотя она настоящая жительница Нью-Йорка и очень важно говорит своим тоненьким голоском на грубом и вульгарном местном наречии. Мы ее хвалим, и толстяк отец с лоснящимся от жира лунообразным лицом расплывается от удовольствия — он тут же приносит нам чайник с чаем особой заварки. В довершение всего нам подают великолепный рис. Никто в мире так вкусно не готовит, как китайцы! Тихо здесь, в этом полутемном подвальчике, таинственно освещенном несколькими лампионами, в углу деликатно постукивают палочки, которыми ест влюбленная пара.

И только звенит голосок маленькой Со Нан-фу, поведавшей нам о мире ребенка, живущего между двумя мирами.

106

Записка из тюрьмы:

«Моабит, 22.VII. 43

...Тихо стало в огромном здании, где без конца на этажах раздается чей-то крик, кого-то вызывают, а сегодня прозвучало дважды: «С-4... 475!» Это я. Я сижу на маленьком откидном стульчике, сейчас не зима, как в Шпандау, о котором я вспоминаю с ужасом...

Там нас было тридцать шесть человек в одном коридоре, из них только четверо были приговорены к разным срокам лишения свободы, и среди них я, а остальные — к смертной казни. Никого не помиловали. Серым зимним утром нас выводили на прогулку в занесенный снегом тюремный двор. Вороны зловеще каркали, кружа над нами, и с каждым днем смертников среди нас делалось все больше. Но все равно мы улыбались друг другу.

Лица у всех были белые как снег, изможденные и суровые, изо рта шел пар. От голода мы еле волочили ноги, и потом этот крик в мрачном здании. Всю зиму там не топили, только изредка от четырех до шести. И еще эти надзиратели и буйнопомешанный на втором этаже, который все время кричал. Какой-то ужас! К тому же у меня отняли книги, бумагу, карандаш — и это под самое рождество, и в камере темно, холодно, я голоден... И все равно мы смеялись и подбадривали друг друга.

Вальтер Х. был великолепен! Никогда больше не видал я такого мужественного человека, подлинного героя. Через две двери от меня была его камера. В одно январское воскресное утро он что-то крикнул в окно. Ветер уносил слова, но я все же расслышал:

— Гюнтер... если выйдешь отсюда... скажи всем... я умер смеясь.

Скорбь человека выражается не в том, что он перестает смеяться. Настоящая, глубокая скорбь растет внутри, становится частью тебя самого, она пронизывает и твои мысли, и твою радость и никогда не утихает. Человек, на долю которого выпала большая скорбь, должен обладать большим чувством юмора, иначе она его сломит.

Самое ужасное на свете — это беззащитность, и я не мог не полюбить человека, который переносил состояние беззащитности гордо, спокойно, даже с иронией, и я уверен, что человек этот и умер так же. Я восхищаюсь им. Когда раздавалась команда: «Кругом марш!», все мы три-четыре шага ступали особенно громко и четко и смеялись. В этом было что-то наше, общее для нас всех, а надзиратели выходили из себя. Как рассказывал один гестаповец, Вальтер Х. вел себя на суде замечательно. Судья будто бы сказал, что жаль, мол, иметь такого человека в рядах врагов. Судили его незадолго до меня. На руке у него было наложено шестнадцать швов — во время допроса он попытался выпрыгнуть в окно, только бы не выдать под пыткой двух своих товарищей».

107

В старой гарнизонной церкви в Берлине я в двенадцатый раз слушаю «Страсти по Матфею» — страсти человечества. Когда хор выкрикивает «Barrabam», кирпичные стены храма гудят в унисон. Посетители недвижимы, тесно. С лиц словно смыло все суетное, мрачное, повседневное, частное. Это уже не лица на каждый день, не лица людей, которые едят хлеб и макароны, это совсем другие лица, с такими лицами люди умирают, это лица швеи, бухгалтера, работницы, потусторонние лица. Многие плачут.

Ибо здесь, в этом высоком храме, залитом светом свечей, заполненном дыханием толпы и ударами бьющихся сердец, звуки, подобно волшебству, сливаются в жалобу — огромную, необъятную, бессмертную! Рождается сокровеннейшее творение христианства — Страсти. Мощные хоры вдруг смолкают, и льется блаженно-сладчайшее соло скрипки. Откуда-то издалека, наполняя весь исторический храм, несется адажио вечной тоски, нежная, как шелк, песня, и поет ее человек, давно уже умерший где-то в Лейпциге, но он и сейчас здесь, неземной, рожденный самим небом гений из гениев музыки. Он здесь, он с нами в этой разносящейся над нами мелодии. Она расцвела в его сердце, которое давно уже перестало биться, расцвела, как драгоценнейший из самых драгоценных цветов цивилизации. Здесь, в храме, он раскрывает над нами свои лепестки, несказанно прекрасный, чистый и сияющий.

А мы, земные жители, мы затаив дыхание сидим, над нами раскрылся потусторонний мир. Склоним же головы! Остановившееся сердце забилось вновь, наинебеснейшее из всех сердец, и оно поет устами скрипки. Мы опускаем глаза.

108

В камеру номер 132 поступил молодой и очень упрямый солдат. Неотесанный и дерзкий, он совсем недавно еще был на фронте. Двадцать один

год ему было. Он бы и здесь задал всем чертям перцу. Я почему-то вызвал у него доверие, и, когда распределяли дневное задание, он успел мне шепотом поведать свою историю. Проездом с фронта в отпуск он на день задержался в Берлине, а тут как раз бомбежка, да какая! И уже будучи дома, в Тюрингии, он возьми да скажи за кофейком, когда у них в гостях сидела жена лесничего: Берлин, мол, сильно разрушен и хорошо бы в следующий налет разбомбило всех нацистов. Жена лесничего написала об этом командиру его части, а от того пошло дальше.

— Как вы думаете, сколько мне дадут? — спросил меня солдат.

Я не знал, что ответить.

— Сам-то я думаю, года три, а? — сказал он.— Отсижу, а выйду... возьму эту бабу в оборот.

Скоро его вызвали в десятый участок военно-полевого суда, подчинявшегося имперскому военному суду. Когда его увозили, он шагал, дерзко вскинув голову.

Незадолго до раздачи обеда к нам на четвертый этаж донесся снизу крик фельдфебеля:

— Староста С-4!

— Есть! — отозвался староста.

И опять голос фельдфебеля:

— Вещи из камеры 132 ко мне вниз! — А это и была как раз камера молодого солдата.

— Слыхал? — подтолкнул меня локтем староста.

Я спросил его, что это значит.

— Вернулся солдат с суда. С. П. получил,— ответил он.

А ведь и верно, смертники не возвращались в свою камеру, их направляли прямо на первый этаж и уже оттуда увозили в Плётцензее.

— Отнеси его вещи вниз,— сказал мне староста, а сам побежал к начальству.

Я вошел в открытую камеру молодого солдата, собрал его жалкие вещички, мыльницу, ложку и т. п. А когда внизу унтер отпер мне камеру, я положил все это на койку — на табуретке сидел солдат с побелевшим лицом.

— Как же так? — шептал он без конца. Я сказал ему что-то в утешение, но тут же за спиной раздался рык унтера:

— Молчать! Вон отсюда!

Двадцать четыре часа спустя молодого солдата обезглавили.

Он был немецким солдатом, молодым, достойным любви, да и все остальные тоже были немцами, и жена лесника в том числе. Может быть, она когда-нибудь прочтет эти строки?

109

— И что вам неймется? Еще неприятности наживете, если будете такое говорить,— сказал мне угольщик. Зимой он приносил мне снизу брикеты — светловолосый атлет с белыми сверкающими зубами, не лишенный юмора, между прочим.

— Сами поглядите,— сказал он мне,— все они приехали на Олимпиаду, и американцы, и англичане, все. Все они на задние лапки встают перед Адольфом. Еще бегать за ним будут. Нет-нет, он кое-чего стоит, наш Адольф. Весь мир ему кланяется.

Вот так говорил он со мной, и надо сказать, в словах его звучала доброжелательность, вроде бы он прощал мне что-то. Да, он был уверен, убежден в том, что говорил. Да и все они были убеждены. Вся заграница отдает честь Гитлеру! Так чего тебе-то надо! Образумься в конце концов! И больше я терпеть не намерен, черт тебя подери! Кто тут против Гитлера хоть слово скажет, тому рот надо заткнуть, а уж кто на него руку подымет — тому несдобровать, сразу куда надо доложим. Все? Все! Почти все.

110

Записка из тюрьмы:

«10.VI.43

Не унывай! Нам надо пережить это время, пройти через него, по самой середине! Не нам одним, миллионам туго приходится. А мы — только

две судьбишки в огромном круговороте этого мира. Только тогда, когда ты перестанешь считать себя пупом земли, только тогда начинается доброта. Я постараюсь достичь этого. Обоих нас основательно потрепал ветер судьбы. Наверное, и ты с радостью думаешь о тихом, отрешенном счастье под двумя столетними каштанами, правда? А с этой мечтой в душе все легче переносится. Да, надо нам пройти прямо через него по самой середине. А когда у человека такая замечательная жена, то ничего с ним не может случиться. Да, так оно и есть, счастливый человек — всегда два человека.

Ах, Джойкен моя, мы с тобой пережили изумительные годы, а теперь настали мрачные. И нам с ними надо так же достойно справиться, как с теми, изумительными. Главное, будь здорова душой и телом. Береги себя, не ожесточайся, ни к чему это. Убежден, что у судьбы в котомке припасена для нас с тобой парочка чудесных яблок.

Сейчас и тебе тяжело, не только мне, но ты справишься. А я всегда с тобой. Мужества желаю тебе, и еще раз мужества!»

Разницу между мечтой и мыслью составляет язык.
Мыслить без слов невозможно, а мечтать — можно.

111



Это было вскоре после премьеры моей пьесы «Подлодка С-4». Я сидел с двумя представителями издательства в кафе в Тиргартене и подписывал договор. В нем значилось, что свои следующие две пьесы я обязан передать прежде всего этому издательству, за что мне заплатили довольно много денег. Я ходил по аллеям Тиргартена, бумажник распирал мне грудь, на мне был костюм с иголочки, и было мне двадцать шесть лет. Купив газету, я обнаружил в ней свое имя и тог-

да только понял: все, все было так, как я о том мечтал в О., будучи жалким гимназистом-третьеклассником. Все вокруг было новенькое: шляпа, костюм; я ездил в автомобиле, останавливался в великолепных гостиницах, бывал в таких роскошных барах, о каких юношей и мечтать не смел. Все, все было новое: и привычки, и богатство, и борьба, и город, и женщины. Хорошо еще, что я узнавал свои руки и свои мысли, но и они изменялись с каждым часом. По правде сказать, ко всему этому примешивалась какая-то доля разочарования. Когда ты о чем-то грезишь, к чему-то стремишься, то, достигнув этого, вдруг видишь: а ведь все выглядит совсем по-иному. Встречался я уже не с бедными студентами, вечно носившимися с какими-нибудь идеями, а с полубогами, гениальными, жестокими и беспощадными триумфаторами в зените славы, и я для них был в лучшем случае любопытным представителем молодого поколения. Никогда мне не забыть того удивления, кстати тщательно мною скрываемого, которое охватило меня, когда я вдруг очутился на всемирном пиру — настороженный, недоверчивый. Я ведь все еще чувствовал себя бедным студентом, прокравшимся сюда, переодевшись как на бал-маскарад. Но нет, на мне был не маскарадный, а просто новый костюм; у меня были деньги, а вокруг — люди, которых в то время судьба определила для меня.

112

Он был инженером и работал раньше у Сименса. В его камере стояли большие чертежные доски со сложными техническими чертежами. Раз в неделю к нему приезжал представитель фирмы и забирал готовую работу. Вот его история.

Как-то жена заехала за ним на аэродром в автомобиле, но он не мог с ней уехать и сказал, что ждет посадки еще одного самолета. На ее вопрос, какого, он ответил, что ждет посадки своего самолета, реактивного. Жена сообщила об этом своему отцу, который немедленно донес на зятя. Теперь инженеру грозил смертный приговор. Находясь в

предварительном заключении, он узнал, что жена подала на развод.

А человек он был жизнерадостный, здоровый, симпатичный. Еще до суда над ним меня перевели в другое место. Жена его и ее папочка, должно быть, еще живы.

113

Восемнадцати лет, с картонкой под мышкой, он, слесарь-подмастерье, прибыл в Берлин. Звали его Пипс. Пятнадцать лет спустя он уже обзавелся собственным домом, фирмой, сорока служащими и огромной белоснежной машиной. Бледный, неуступчивый, хотя и беззлобный, он ко всему был равнодушен. Он много пил, предаваясь похоти в самой ее грубой форме. Теперь он уже строил себе новый дом на Хеерштрассе. Ночи проводил в барах или в постели с несколькими женщинами сразу. Проезжая по Курфюрстендамму в своей огромной, бесшумной, сверкающей машине, он заманивал тамошних девиц. Жил он со вкусом, одиноко, потакая своим страстям. Руки у него были жесткие, ногти всегда обгрызены. Выглядел он хорошо, небольшого роста, холеный, легко находил общий язык с любым собеседником. Говорили о нем, будто он спекулянт, пират и гангстер. Когда я его встретил последний раз, я собирался на самолет. Он стал предостерегать меня.

— Ты сидишь в нем, точно в мышеловке. Случись что-нибудь — деваться некуда. У меня всегда какое-то тревожное чувство, когда я летаю на них.

Прошло несколько недель и, сидя в парикмахерской, я прочитал в газете сообщение о его смерти. Он погиб в Вестфалии в авиационной катастрофе. Двадцать человек разбилось.

Некоторое время огромная белая машина еще появлялась на Курфюрстендамме. Из нее выглядывала алчущая, потрепанная физиономия.

114

Посреди ночи шестеро гестаповцев в штатском при свете карманных фонариков выволакивают тебя в какой-нибудь гнусный моабитский коридор

и с тобой еще нескольких заключенных, сажают вас в Зеленую Минну * и рано утром тебя ведут прикованным к полицейскому по большой лестнице Ангальтского вокзала на перрон. Все как будто во сне. Люди ходят одетые по-летнему, без кандалов, дети, женщины. Целый год ты не видел людей, кое-кто останавливается и удивленно смотрит на тебя.

Маленькая девочка, дернув маму за руку, говорит:

— Мам, гляди, какой дяденька! — Ее острые глазки высмотрели цепочку от наручников. Мать долго смотрит на меня, кивает горестно, словно родственница. И сразу же, как если б кто-то застал ее за недозволенным занятием, отворачивается. Полицейский толкает меня в вагон для заключенных. Вся камера на колесах не больше стола, нас в ней трое. Тщетно пытаюсь выглянуть наружу; хорошо, что хоть слышу эти прекрасные звуки — изумительный гомон большого вокзала. Стою у зарешеченного окна из толстого матового стекла и слушаю. Никогда в жизни мне не приходилось внимать такой чудесной музыке, как эта утренняя вокзальная симфония! Детские голоса, куда-то спешащие и кого-то зовущие женщины, перекличка паровозов вдали. Для меня все это как глоток студеной воды для истомившегося от жажды.

115

Он пригласил меня на вечер, и я пошел. Было несколько артисток. Много пили, танцевали. Две женщины были пьяны. В полночь кто-то ушел. Полусвет завешенных ламп, вкрадчивая мелодия танго, по уголкам — парочки. Одна из дам напилась до бесчувствия. Пипс вывел ее. Когда позднее мне понадобилось зайти в ванную и я открыл дверь, то увидел опьяневшую голой под душем. Пипс и еще кто-то из мужчин поддерживали ее. Она стояла с закрытыми глазами, покачиваясь в ярко-белом свете ванной. Волосы свешивались на лицо, с

* Полицейская машина для арестованных.

них стекала вода. «Заходи!» — крикнул мне Пипс, весело смеясь. Я закрыл дверь, схватил в передней шляпу и тут же ушел.

Несколько недель спустя я встретил Пипса. Он обругал меня. Такая пикантная ночка вышла тогда. Я не стал его расспрашивать. Мужчина способен сам погубить себя, быть самому себе злейшим врагом. А мне очень хотелось жить с собой в мире.

116

В тюрьму переправляли следующим образом.

Нас выгрузили из вагона, двадцать человек заключенных. Построили и, окружив отрядом полицейских, повели. Мы шагаем через город, связанные друг с другом цепями. Политических можно узнать по тому, что шляпы они несут в руках, а голову держат высоко.

Но вот тяжелые чугунные ворота каторжной тюрьмы с грохотом захлопнулись за нами, и мы стали так называемым «новым поступлением». Для начала нас ведут в подвал, где в длинном холодном коридоре вдоль стены лежат двадцать узелков. Приказ: раздеться и сдать старые вещи надзирателю. Потом каждого подводят к табуретке, где в мгновение ока он оказывается остриженным наголо. Затем ты получаешь узелок и одеваешься во все тюремное — в огромные, на несколько номеров больше, чем тебе нужно, штаны и подштанники с тысячью заплат и в серую влажную рубаху, пахнущую больницей. Еще тебе выдают башмаки на деревянной подошве и круглую черную бескозырку, которая, конечно, оказывается мала. Одним словом, вид у тебя явно смехотворный, и делается это преднамеренно. Так вот и начинается твоя тюремная карьера — стуча деревянными подошвами и спотыкаясь, ты поднимаешься по лестнице, весь в заплатах, с желтыми выцветшими полосами на брюках и рукавах, к тому же наголо остриженный, неловкий новичок. Уже слышно, как хлопают первые оплеухи — у кого-то соскочил башмак. Штаны волочатся за тобой по полу, и ничего-то и никого-то ты здесь не знаешь. Успеется. Все и вся узнаешь!

117

На маленькой лодочке я отплыл от Пиккола Марина, держась все время в тени огромных скал, о которые с грохотом разбивался голубой прибой. Отыскав в конце концов Лазоревый грот, я вошел в него на своей лодчонке. Грот, высотой несколько метров, был освещен каким-то зыбким зеленоватым светом — то было отражение солнечных лучей, шедшее от морского дна и преломляемое в кристально-чистой воде. Я спрыгнул с лодки и нырнул. Вынырнув, лег на спину. Загорелая кожа отливала серебром, и у меня рождалось ощущение небывалой отрешенности и одиночества, я словно парил над каким-то зеркалом, мерцая и переливаясь. Потом я влез в лодку и уплыл.

118

Во время прогулок шагом в ногу по тюремному двору — я и сейчас еще слышу, как орут: «Дистанция три метра!» — инвалиды ходили медленней и по малому кругу. В стороне от остальных, примерно двухсот заключенных, стучавших своими деревянными подошвами, ходили трое слепых. На них была черная в желтую полосу тюремная одежда, и они шли, держа друг друга под руки. Высоко подняв белые лица, как это делают все лишенные зрения, они глядели в пустоту. Слева и справа от них ковыляли на костылях двое одноногих. Слышно было, как они время от времени переговаривались, до нас долетали отдельные слова. Кто-то из них уже отсидел восемь лет, да и остальным предстоял немалый срок. А может быть, это совсем неплохо, что они не видели — в те годы ничего хорошего нельзя было увидеть. А уж здесь и подавно.

119

По всем помещениям большой киностудии в Иоганнистале разнеслась весть о том, что сегодня на репетиции будет танцевать Б. Съемка была назначена на завтра, так что можно будет посмот-

реть. Все назначенное на этот день тут же было отменено. Сухощавая, узкобедрая, своевольная, Б. всегда смеялась. Ее танец казался каким-то эротическим вихрем. И продюсер и режиссер нервно гасили свои сигареты. Потом мы все вместе сидели вокруг Б. в столовой и обедали — вся съемочная группа. Ей захотелось в тот день еще побывать в баре, и все наперебой стали предлагать свои роскошные автомобили. Она решила ехать со мной. Я обратил ее внимание на то, что моя машина и мала и стара. Она только рассмеялась и, взяв меня за руку, повела к выходу. Через темный Иоганнисталь мы направились в западную часть города и, забыв о баре, затормозили у обыкновенной пивнушки. Оказалось, что нам надо было ужасно много друг другу рассказать. Потом мы поехали к ней домой и пили шампанское. Она жила в хорошенькой квартирке на улице Ам Кни. Красивая, с горящими страстью глазами, она сидела в глубоком кресле, и чувствовалось, что она очень любит порядок вокруг себя, но что вместе с тем она страшная дикарка и к тому же тщеславна. На следующий вечер мы снова прямо из студии поехали к ней. По дороге остановились в лесу. Она сказала: «Остановитесь здесь!», и я затормозил. Она лениво процедила: «Прогуляемся», и мы пошли по совершенно черному еловому лесу. У меня возникло ощущение, будто я иду рядом с очень красивым, похотливым хищным зверьком. И я был прав.

120

После очередного перевода я попал в камеру, где уже сидели бывший инспектор мест заключения и бывший министр. Инспектор (саксонец-блондин) уже отбыл три года, однако юмора своего не потерял. Министр Гримме был одним из самых честных и симпатичных людей, с какими мне довелось встретиться за все время моего заключения, и отличнейший товарищ. Нас осудили по одному и тому же делу, и мы еще в Шпандау сидели в одной камере. Вскоре кончилась бумага, и нам

больше не надо было клеить пакеты и конверты. Потянулись недели безработицы. Но жили мы в своей небольшой камере, примерно три на пять метров, дружно. Много спорили, учились друг у друга, играли в шахматы, фигурки которых вырезали из оберточной бумаги, и давили клопов. Пожалуй, это был самый хороший период за все время моего заключения — только благодаря двум товарищам. Привет им.

Людям, тонко чувствующим, приходится дорого расплачиваться за это, а именно — повышенной восприимчивостью к боли.

121

После длительной поездки на автомобиле — я пять часов подряд сидел за рулем — мы к вечеру добрались до Нюрнберга и сняли номер в гостинице «Гросер кёниг». Должно быть, ярко освещенный город подействовал на нас, и мы, хотя и пыльные и усталые с дороги, были празднично настроены. Я отогнал машину в гараж.



И когда после ванны, довольный, вошел в комнату, то она уже успела превратить ее в празднично убранные покои. На столе — великолепно сервированный ужин, серебро, хрусталь, в ведерке со льдом — вино. Она тоже приняла ванну и, нежная и красивая, полулежит в пурпурном халате на кушетке. Ее бледное прекрасное лицо светится в слабо освещенной комнате, сияющими глазами она смотрит на меня. Снаружи доносится приглушенный городской шум, мимо проносятся автомобили. Мы принимаемся за ужин, вино пьется легко и сразу будоражит. Мы смеемся.

122

Это было в воскресенье после полудня. Надзиратель, сидевший с утра до вечера в нашей камере и ни на минуту не спускавший с нас глаз, вдруг страшно разозлился, потому что один из заключенных положил свою книгу в шкафчик обрезом налево, а не направо, как полагалось по инструкции. Заключенный этот был голландец, пекарь по профессии, ему и родная-то речь давалась с трудом. Примерно около двух часов дня надзиратель, дюжий и раздражительный детина, вдруг приказал нам всем встать и тут же принялся размахивать резиновой дубинкой. Клокоча от бешенства, он гонял маленького визжавшего пекаря по всей камере, словно охотясь за летучей мышью. Мы все стояли по стойке «смирно». Так прошло полчаса, и надзиратель, изрыгая ругательства и тяжело отдуваясь, присел к своему столику отдохнуть. Но немного погодя снова принялся избивать голландца, пока тот, обливаясь кровью, не рухнул на пол. А мы стояли по стойке «смирно». И было нас сорок мужчин, и мы без труда могли бы разорвать этого надзирателя на куски. Разумеется, нас за это убили бы. Гнев кипел в нас, мы дошли уже до белого каления, но мы стояли «смирно». Около половины пятого надзирателя сменили. И все это время он избивал голландца. Однако домой он ушел в отлично выутюженном воскресном мунди-

ре, должно быть, выпил пива, играл в карты и, наверно, ворчал по поводу «неприятностей на службе».

123

День за днем наш скорый мчался по пшеничным провинциям Аргентины Энтре-Риос и Коррьентес. Под раскаленным небом простиралась желтая, тяжелоколосая, бесконечная даль. И ветер, дувший со стороны Жужуй, нагонял на нее волны. Не отрываясь я смотрел в окно.*

Я видел огромное стадо — лес рогов отсвечивал на солнце, тысячи морд тянулись перед переступающими копытами. Я видел быков и телят. Я видел смерть бурой коровы Коррьентеса.

Она была одна. Ее стадо ушло вперед. Никому не было дела до бурой коровы. Пережевывая и мыча, большое стадо ушло вместе с ветром, оставляя после себя тысячи и тысячи следов в грязи и умирающих коров, которые, упав на колени и неестественно изогнув шеи, устремляли свои янтарные глаза в вечность.

Долго Бурая старалась не отставать от стада — там, между парующими телами, был ее дом. Но не хватило сил. Вытянув вперед морду и качая головой, она ковыляла теперь одна.

Сначала она брела в огромной туче пыли, ее почти не было видно, только изредка показывалась ее бурая шкура, медленно покачивающиеся рога, волочившиеся копыта. Каждый ее шаг был борьбой за жизнь, она пыталась уйти от смерти.

Но вот уплыла и туча пыли. Даже она тянулась быстрей Бурой. Теперь умиравшее животное четко выделялось на фоне залитой солнцем пампы. Туча пыли впереди все уменьшалась, солнце пекло немилосердно, а Бурая без всякой надежды плелась ей вслед. Одна, совсем одна.

Но когда наступает конец, в пампе никто не остается один.

Умиравшую Бурую уже преследовали птицы. Трепещущая черная тучка стервятников пры-

---

* Провинция в Аргентине.

гала за ней, шаг за шагом, каркая, щелкая клювами, сверкая оперением, жадная и возбужденная шуршащая тучка смерти!

Один раз Бурая даже устало посмотрела на нее своими ничего не видящими покрасневшими глазами и чуть прибавила шагу. Собрав последние силы, она еле переставляла ноги вслед великой и такой счастливой туче пыли, ее родине, теперь исчезнувшей, сгинувшей за горизонтом. И вдруг Бурая стала. Зеленоватая пена текла из ее разверстой морды, ноги дрожали, бока ходили.

Стервятник прыгнул ей на спину — огромная, черная как ночь, птица смерти, и Бурая дико вскрикнула. И тут же рухнула, тихо положила голову на землю, по которой гулял ветер пампы, и так и осталась недвижимой, бесстыдно выставив свой костлявый зад. А тем временем стервятники, хлопая крыльями и торжествующе каркая, с жадным нетерпением рвали ее красное, блестевшее на солнце мясо, и перья их дыбились на ветру. Птицы перепрыгивали с места на место, вздымая крылья, приплясывая на умиравшей. А кругом в смертельной тишине, раскаленная от горизонта до горизонта, желтела великая равнина. Исчезла туча пыли. Быстро надвигалась смерть.

Бурая опрокинулась на траву, задние ноги в агонии взбрыкнули, и сразу же вся черная тучка смерти, деревянно хлопая крыльями, опустилась на нее. Ненасытные клювы вырывали свою трапезу кусищами, трава вокруг быстро краснела. И свет луны, который вскоре разольется над пампой, осветит клочья шкуры бурой коровы Коррьентеса и скелет, с которого капают красные капли.

Скоро наш поезд снова тронулся в путь, и мы нагнали большое стадо, равнодушно бредущее к горизонту. Поблескивал лес рогов, тысячи морд щипали траву под копытами, телята резвились...

То была великая родина, могучая, как сама жизнь!

Когда наш скорый сворачивал в сторону, над гордо ревущим стадом светилось белесое небо и ветер, вечный ветер, гулял над ним.

124

Иногда по ночам мы слышали, как вдали что-то грохотало. Если смотреть из окна с нашего четвертого этажа на север, то видно было красноватое зарево над ночным горизонтом. Ниточками по небу рыскали светлые лучи, кружились, перебегали, это было похоже на гнездо сверкающих, возбужденно извивающихся змей где-нибудь на дне океана. Красиво, будто во сне! А это был налет на Берлин, и там разверзался ад. И наши страхи, наши надежды, наши жены и дети, наши семьи и наши дома тоже были там. Многие недели спустя приходили письма, и несколько заключенных, с еще более побелевшими лицами, не находя себе места, бродили по кругу тюремного двора. Значит, погибло еще несколько жен. Вот и все.

125

После премьеры мы с Г. и несколькими знакомыми едем по ночному дождливому Лейпцигу в бар. Пьем, веселимся, и вдруг от соседнего столика отделяется тощая фигура. Испитое лицо. Рингельнац! Он пьян. Но и мы пьяны. Он говорит, что молодые поэты не умеют писать, у них нет юмора. Я ругаю его. Неожиданно мы схватились. Нас разнимают официанты. Мы садимся за один столик и с ожесточением пытаемся выяснить роль юмора в поэзии и говорим, говорим до самого закрытия — Рингельнац чудесен, когда пьян! В то время это был тощий, сухопарый агрессивный человек, так и брызжущий остроумием. Прекрасный поэт.

126

Утро в тюрьме чудовищно. Серый сумрак в зарешеченном окне. Со всех сторон храп. Ты лежишь на соломенном тюфяке под двумя стершимися, старыми-престарыми одеялами, между которыми положил свою тюремную одежду. Так она просохнет и в тоже время будет греть тебя. Но все равно холодно. Клопы, насосавшись, оставили тебя

в покое. Вот гремят ключи, открывается дверь и раздается рык: «Подъем!» И сразу же начинается суета усталых, грязных, опустившихся людей. Они кое-как умываются, причесываются, натягивают на себя непросохшую одежду. Команда следует за командой, одна резче и противнее другой.

— С парашами... выходи!

— Водоносы... выходи!

— В сортир... выходи!

— Дежурные... выходи!

В длинных, пустых и голых коридорах, будто в кругах Дантова ада, сразу начинается ор, то и дело слышатся глухие удары. Все суетятся, бегают. Тускло светит одинокая лампочка. Вдруг крик:

— Внимание! Камера IV — сорок два человека. Все на месте.

Входит старший надзиратель корпуса. Все застыли, не сводят с него глаз.

Он осматривает заправку коек, срывает одеяла, где она ему не понравилась, и если выдается хороший день, то никого не бьет.

Следующая команда — строиться! Каждый получает по кружке кофе и куску хлеба толщиной в палец. Шум, крик, ругань. Проходит несколько минут, и опять команда:

— На выход!

127

Ее «паккард» остановился перед огромным порталом. Меня встретил швейцар. Ц. крикнула: «Хэлло!» — и выпила со мной в царственном холле. Происходило это в Нью-Йорке, на другом берегу Гудзона. Ц. была блондинкой, молоденькой, хорошенькой, поджарой. Она любила меня, ведь я был писателем и прибыл из Европы.

За обедом председательствовала миссис Н., одна из тех толстых, светловолосых и избалованных женщин, которые из своего богатства делают ежедневное утомительное занятие, не умны, однако добродушны. Она все время по-матерински опекала меня. На ней было вечернее платье, на шее — тяжелые нити жемчуга, и она тихо рас-

спрашивала меня. В Европе она знала только Лондон, Париж и Лазурный берег, где бывала каждый год. А я наслаждался великолепным вином и прекрасными кушаньями, не без удовольствия отмечал восхищенные взгляды Ц. и злился на свой плохо выутюженный смокинг.

— Сразу заметно, что вы европеец,— улыбаясь, отметила миссис Н.

— Почему?

— Вы едите ножом и вилкой. Правда, Ц., ведь все в Европе так едят?

— А как же едите вы?

— Мы сначала разрежем все на маленькие кусочки, отложим нож на краешек тарелки и потом едим.

— Что ж, это, пожалуй, проще и удобней,— отметил я.

— Пожалуйста, поешь хоть разок так, как мы,— попросила меня Ц.

Я так и сделал, и обе они несказанно обрадовались. Это были две добрые, лишенные всякого воображения, чистосердечные женщины, жившие в богатом доме, и Ц. спросила меня как-то, не собираюсь ли я когда-нибудь жениться.

— Не думаю,— ответил я. Чужой это был для меня мир, и я не мог отделаться от ощущения, что сижу за столом на какой-то другой планете. У них было все.

128

Он сидел за повидавшим виды деревянным столом в общей камере и вместе с нами всеми хлебал из жестяной миски вечернюю баланду. Он был уже очень стар, с белой бородой и белым как полотно лицом. Медленно поднимая ложку, он упрямо подводил ее ко рту, время от времени роняя ее. Потом рука его упала на стол, миска опрокинулась, похлебка выплеснулась, и сосед ударил старика по лицу.

А он медленно выбрался из-за стола и с открытым ртом пополз к тюфяку. Так и не раздевшись, лежал он измученный, только до половины натянув на себя рваное одеяло.

Рано утром на следующий день кто-то сказал:
— Гляди, старик-то кончился.

И действительно, он был мертв. Но всем было некогда, уже дали команду строиться. Мы только доложили надзирателю, и санитар, громадного роста мясник, явился к нам и унес старика, взвалив его на плечо. Белые руки его раскачивались из стороны в сторону.

129

Ах да, карнавал в Кёльне! Всю ночь мы танцевали, и целовались, и буянили в Гюрценихе. Было ужасно шумно, губы болели. Я сказал ей, что устал, и ушел. Все были пьяны. На улице — туманный, сырой и почему-то светлый февральский рассвет. Казалось, дома трясутся от музыки и пляса.

Неожиданно я очутился в древнем соборе. Где-то далеко перед главным алтарем что-то шептал священник. Серый лес громадных колонн, торжественные разноцветные витражи высотой с дом, бесконечный и гулкий неф. Кто-то кашлянул. На алтарях — свечи. Было очень тихо, только священник в белом облачении, отсюда маленький, что-то бормотал себе под нос.

Перед боковым алтарем на коленях стояла пожилая женщина. Она тихо плакала.

130

Месяцами я грузил уголь. Чаще всего выгружал из вагонов в бункера тяжелый, с острыми гранями антрацит для паровозных топок. Зимой он был смерзшимся, и я голыми руками хватал куски, раскачивал и бросал. Весь почернеешь от такой работы, кожа на ладонях потрескается, то и дело спотыкаешься о скользкий уголь, и очень скоро из тебя дух вон. Другие заключенные таскают тяжело груженные корзины по лестнице — пятнадцать ступеней вверх. И только выгрузишь один вагон, подкатывают еще семь-восемь. А когда уголь мелкий, его набирают на короткие вилы, какими обычно пользуются истопники — один с

левой, другой с правой руки. Пыль стоит столбом, гвалт, а ты сгребаешь и сгребаешь, другие носятся с корзинами, и часовой, глаза полны злобы, орет:

— Живей!

И ты должен работать еще быстрей. Время от времени вдруг перед тобой появляется черное, страшное лицо. Это твой товарищ по заключению. Ругнется и исчезнет. А маленькие скромные снежинки пляшут вокруг ствола винтовки — как они далеки от нашего черного рабского труда, столь похожего на пляску в аду.

Один человек редко бывает опасен. Опасным он становится лишь тогда, когда его втискивают в систему и наделяют обязанностями.

131



О, эти винные погребки! Усталый и трезвый, ты спускаешься на несколько ступенек и выходишь властелином мира — ловкий, гибкий и отважный. И как они только не называются! В Веймаре — «Шварцер адлер», в Кенигсберге — «Блутгерихт», в Кёльне — «Крюцхе», в Вене — «Францисканер», в Бремене — «Эссигхаус», в Годесберге — «Линденвиртин» — и всегда-то в них царит полумрак, и в стакане на солидном, натертом до блеска столе играет красное

«Шато Фекан», и как чудесно разыгрывается воображение в мужской беседе. Или ты сидишь один, мечтаешь и пьешь вино, и у него вкус столетий. Мозг твой горит, рождая изумительные мысли, полные тяжелой мужской грусти и снисходительного всепрощения. Как хорошо и как темно здесь. Ласковый свет лампы отражается в бутылке красного — то сгусток таинственной солнечной энергии, ясная мощь благодатного духа.

А сидит-то за стаканом, уставившись в столешницу, согбенный, маленький человечек, но в воображении своем он первопроходец лазурных джунглей фантазии. Звезды всего мироздания сверкают в его мозгу, и все ему ясно и понятно. И доброта мужчин, и их молчаливая любовь к жизни. И пьет он не торопясь, глоток за глотком, а сам притих, будто его коснулась десница рока и заколдовала. Со дна стакана поднимаются великие планы и проекты, которые на следующее утро надлежит подвергнуть трезвому пересмотру.

132

Я грузил уголь. Тяжелый кусок антрацита придавил мне замерзшую руку. Образовался небольшой кровоподтек и ссадина. Потом началось нагноение. Но я продолжал работать и снова и снова сдирал кожу. В конце концов рука распухла. Заключенные поопытней посоветовали при выходе на работу разыграть обморок, тогда меня назначат на работу в помещении. «В лазарет не ходи»,— предупредили они меня.

Но я был еще неотесанным упрямцем: для чего же тогда существует лазарет? — сказал я себе и отправился туда. Владыка лазарета, долговязый фельдфебель, многие годы назад побывавший на курсах санитаров, решительно разрезал нарыв и со всей силой принялся выдавливать. Я хорошо понимал, что это нелепо. Нарыв еще не созрел. Но сопротивляться было поздно, вот и пришлось стоять перед ним, сжав зубы: боль была немалая! Да и потом рука болела сильно, а к вечеру две красные полосы потянулись к плечу. Чувствовал

я себя прескверно, рука горела, кисть сильно распухла. На следующий день я опять попросил отвести меня в лазарет, но там зарешеченная дверь оказалась запертой. В конце концов фельдфебель все же явился и, ударив меня связкой ключей по больной руке, закричал, чтоб я такими пустяками не смел его беспокоить. Дверь была еще заперта, и он не смог собственноручно спустить меня с лестницы, как это у него вошло в привычку. Я ушел. Товарищ по камере помог мне перевязать руку, а ночью я подвесил ее на петле к верхней койке и стал поливать холодной водой. Через несколько дней заражение крови прошло. В тюрьме есть две присказки. Заключенные говорят: «Заболеешь — помрешь», «Кто гниет — тот и подохнет»,— говорят надзиратели.

Заражению крови у нас отдавали предпочтение перед другими видами смерти.

133

Решив поехать в Финляндию, я взял палубный билет, да и на это едва хватило денег. Подумаешь, две ночи посплю на палубе, решил я, когда пароход отошел от причала Штетинского порта. Вечером я узнал, что палубные пассажиры не получают никакого питания. У меня оставалось всего несколько марок, и их никак нельзя было тратить. Значит, придется голодать.

В открытом море нас застиг шторм. Никому не бывает так плохо от качки, как изголодавшемуся человеку. И должен признаться, мне редко когда приходилось испытывать такие физические мучения, как во время этого плавания по Балтийскому морю. Еще и два дня спустя я сидел дохлый, как январская муха, на скамейке Эспланади Кату в Хельсинки.

Но потом все прошло.

134

В команде по уплотнению железнодорожного полотна работали по четыре человека. Тяжелой киркой мы забивали щебенку под шпалы двух-,

трех- и четырехтактным ударом, этот последний считался самым шикарным. Для опытного железнодорожника это не тяжелая работа, но от нас, заключенных, требовали более быстрого темпа. Вот и бьешь и бьешь целый день с очень короткими перерывами. Проходит неделя-другая, и начинает пухнуть левая кисть. И если еще зима и ты в хлопчатобумажной куртке стоишь на ветру, а часовой советует тебе греться работой... И если дождь — ведь ты работаешь и в дождь,— а часовой в шинели и в плаще укрылся под деревом, и он говорит тебе: «Махай быстрей, тогда и дождь не намочит!» Так и работает каторжник: голод гложет его изнутри, мороз кусает снаружи, а слова часового с заряженной винтовкой секут хуже кнута... Медленно двигаются две колонны, впереди тот, что с вилами,— он рыхлит, за ним второй — он заваливает щебенку, третий — замеряет, а старшой — орет. И кругом ни души, никакого отзвука, бесконечные свекольные поля, ни домов, ни построек — серый, мокрый ноябрьский день, и сквозь него продираются вдоль рельсов усталые, измученные, отчаявшиеся и голодные люди, и два, и три, и четыре! И снова взмах тяжелой киркой: раз, и два, и три, и четыре, и винтовка заряжена, и устали мы, устали...

135

Сижу на деревянной веранде маленького кафетерия в небольшом городке Северной Виргинии и пью отличное чилийское вино. Деревенская улица передо мной пуста, полдень, жалюзи во всех домах закрыты, жители спят или просто лежат и ждут, когда спадет гнетущая жара.

Неожиданно откуда-то выскакивает негритенок с пачкой газет и, размахивая газетой, кричит:

— Germans bomb Almeria!.. Germans bomb Spain! *

---

* Немцы бомбят Альмерию!.. Немцы бомбят Испанию! *(англ.).*

Распахнулись окна, открылись двери, улица наполнилась шумной толпой. Люди, держа газеты в руках, проклинают немцев. Бурное возмущение прокатывается по мирному городку. Снаряды, выпущенные германским крейсером, разорвались здесь, в тишине этого сонного городка.

Я — немец, и злодеяния моих земляков настигли меня здесь. Все мы, простые люди, хотим только мира, а те там — хотят стрелять. И они стреляли до тех пор, покуда не начали стрелять в них. Я — немец, и мне было стыдно за свое отечество, я его все-таки люблю.

136

С помощью одного железнодорожного рабочего мне удалось переправить ей письмо: пусть в такой-то день и час будет на вокзале в Рохау. Там нас сажали на поезд. Это была узкоколейка, проложенная через огромные массивы лесов, а вокзал Рохау был просто-напросто деревянным сараем.

И вот однажды вечером, смертельно усталые, подходили мы после работы к станции. Я знал: сегодня она будет здесь ждать. В тот день мы ремонтировали железнодорожные пути, заменяли рельсы, засыпали щебенку, трамбовали ее, и вечером, шагая в ногу, тащили на станцию кто кирку, кто вилы, кто измерительные приборы. У станционного сарайчика стояли двое: пожилой рабочий с велосипедом и женщина.

Маленькая, изящная, почти девичья фигурка в серых притихших октябрьских сумерках. Слышно было только клац-клац наших деревянных подошв, потом команда надзирателя: «Стой! Лопаты составить! Вольно!»

И вот я стою четвертым в первом ряду, опершись на тяжелую кирку, в заплатанной серой куртке,— каторжник, заросший, изголодавшийся и смертельно усталый. Стою и молчу. А там — стоит она, всего в восьми метрах от меня, чистая, хорошенькая, аккуратная молодая женщина, и ее

маленькое бледное лицо резко выделяется на фоне темных сосен. Но такой у нее огонь в глазах — никогда мне его не забыть! Мы даже раза два взглянули друг на друга с отчаянием и всей силой нашей любви и сразу же закрылись маской равнодушия. Часовой стоял, опустив винтовку на землю, тараща глаза в пустоту. Товарищи тихо переговаривались, подталкивая друг друга и, переглядываясь, кивали в сторону «хорошенькой бабенки». Они и не подозревали, что это была моя жена, два дня добиравшаяся сюда, чтобы обменяться со мной взглядом на этом затерянном полустанке.

Мы будто бы отрешились от всего. Не было никакого полустанка. А было здесь место встречи, утраты и нового обретения друг друга. Никогда так не стучало мое сердце, никогда я не ощущал столь горестного отчаяния. Вдруг она начала свистеть, как, бывает, насвистывает тихонько про себя одинокая девушка. Но свистела она одну из наших песен, тонкой дрожащей нитью пролетевшую над полустанком. Меня словно оглушило. Как только она умолкла, я тут же подхватил мелодию и стал свистеть тоже, тихо, почти неслышно. Пауль, сектант, резко толкнул меня: «Не надо лучше».

Часовой, лениво поглядев на нас своими серыми каменными глазами, спросил:

— Никак свистит у вас кто?

— Нет, нет,— поспешил я ответить. И чтобы она услыхала мой голос, добавил: — Нет, господин фельдфебель.

Целый год мы не виделись с женой. А потом подошел поезд, еще один взгляд, и снова мы не виделись целый год.

137

Рихард крикнул: «Все кончено!»

Он был немного бледен и стоял, небрежно засунув руки в карманы. Нет, мне все еще не верилось.

— Слышишь? — спросил он. Публика в зале свистела, топала, орала. Порой долетали и наши имена с добавлением всего того, что штурмовики намеревались проделать с нами.

Нацисты сорвали первое представление нашей новой пьесы.

— Идем на сцену,— предложил я.

— Ни в коем случае,— сказал Рихард. И был прав.

Через дверь мы видели, как Штрауб героически сражалась против неистовствовавшего партера, а там уже образовались группки смельчаков, протестовавших против бесчинств нацистов. Послышались удары — штурмовики грубо выталкивали неугодных им зрителей.

Когда появилась полиция, в зале зажегся свет и толпа, горланя, двинулась на улицу. Я вышел на сцену, взял свою шляпу, перекинулся несколькими словами со Штрауб. А она — огромные глаза горят, золотые волосы развеваются — подбежала к рампе и крикнула в темный зал:

— Мы им еще покажем!

Пробираясь через толпу на улице, я услыхал, что штурмовики ищут какого-то человека. Этим человеком был я.

Потом мы долго сидели в «Зеленой ветке» у Марии Фейн на Лютерштрассе. А ночью все участники спектакля собрались на квартире у Штрауб. Большинство отказалось выступать на следующий день. Храбрая Штрауб, Лео Ройсс и я остались в меньшинстве.

Как только наступил вечер, я пошел к театру. Там было темно, все двери заперты. Перед главным подъездом расхаживали двое полицейских. Да, все было кончено.

138

Все его так и звали Кастратом. Хорошенький и беспомощный парень лет двадцати семи. Кожа у него была как у девушки. Его кастрировали по приговору суда.

Заключенные издевались над этим несчастным человеком, вот уже семь лет сидевшим в каторжной тюрьме.

139

Ах, эти поездки в Лесную избушку в Гатове! Еще опьяненные быстрой ездой, мы ставили машину на стоянке, усаживались за столик, пили кофе с коньяком, ели пирожные... А потом лежали в шезлонгах за живой изгородью, мечтательно любуясь ландшафтом. Светило солнце, было лето. Иногда мы отправлялись на прогулку к одинокой березе, бродили по кустарнику на опушке, где земля казалась раскаленной, а листья горячими. Мы смотрели друг другу в глаза, ветер гулял над нами, а там вдали простиралась залитая солнцем бранденбургская земля, и тихо-тихо было вокруг: был мир, была любовь.

140

Нашего пекаря звали Франц. Вместе с несколькими заключенными он выпекал для нас хлеб, причем работал всегда спокойно, быстро и очень аккуратно. Франц был коммунистом и сидел уже шестой год. Обвинение — государственная измена. Замечательный товарищ, он использовал свое привилегированное положение, чтобы организовать помощь политическим заключенным: он постоянно снабжал их дополнительными пайками хлеба — «кульками». Вместе с хлебом он возвращал многим надежду — ведь такой ломоть хлеба, толщиной в палец, был единственной радостью, изредка перепадавшей нам. Меня лихорадило от счастья, когда я прижимал к груди этот «кулек», спрятав его под курткой. Франц, таких, как ты, с твоей решительной готовностью всегда помочь, мало было среди заключенных, слава о тебе ходила по всем корпусам нашей тюрьмы. Все политические высоко ценили твою поддержку. Ты дарил нам радость, единственную радость. Спасибо тебе.

История культуры — это в значительной мере история контактов.

141

На Фазаненштрассе горела большая синагога. Со стороны Кантштрассе это походило на празднество: все окна ярко освещены! Но постепенно освещение это сменилось какими-то зловещими красными отблесками, а скоро и первые клубы дыма взвились над крышей. Вокруг толпился народ, многие молчали, но многие высказывались одобрительно. Освещенные красноватым пламенем, полные ненависти лица выражали явное удовлетворение зрелищем пылавшей синагоги.



Немного отойдя, я увидел в переулках бездействовавшие пожарные машины. Пожарники стояли группками, переговаривались, прикуривали друг у друга, пересмеивались. В палисаднике одного из близлежащих домов несколько пожарников играли в карты. Люди, призванные тушить пожары, сидели рядом с горевшим храмом и играли в карты!

Гордые и неприступные, высились рядом с горевшей синагогой дома чистокровных арийцев. Но прошло всего несколько лет, и эти дома превратились в такие же развалины. Пожарникам было тогда уже не до карт. Быть может, их ныне уж нет в живых, этих пожарников; рука, державшая козырной туз, отсохла, смех отлетал, карты смяты...

А руины — руины все одинаковы.

142

Прозвучал сигнал воздушной тревоги, но мы продолжали работать на свекольном поле — восемь каторжников и один надзиратель. Одна за другой над нами пролетали в сторону Берлина эскадры грохочущих бомбардировщиков. Вдруг высоко в воздухе раздался треск пулеметов, и надзиратель крикнул: «Ложись!» Мы бросились на землю, и в ту же минуту на нас устремились три самолета. Пулеметная трескотня не смолкала. Первый самолет пролетел на высоте не более трех метров над нами, два других, немного отстав от него, на высоте двадцати метров. Похоже было, они гнались за ним. Метрах в ста пятидесяти от нас первый самолет коснулся земли и исчез за ржаным полем. Раздался взрыв, и из-за холма поднялось облако черного дыма.

Вместе с надзирателем, успевшим спустить предохранитель, мы бросились к месту падения. Два других самолета уже не стреляли, а, взмыв вверх, быстро удалялись.

«Американцы!» — подумал я на бегу. Когда мы перевалили через холм, самолет был уже

объят пламенем, рвались боеприпасы. Два других самолета, уже не стреляя, набирали высоту.

— В укрытие! — крикнул надзиратель, но я и двое других из нашей команды отбежали уже довольно далеко по канаве и не стали слушать. Боеприпасы все еще рвались. Метрах в шести от горевшего самолета лежал пилот и кричал. Подоспевший батрак и я оттащили его в канаву. При этом мы оба сожгли себе брови. В канаве мы разглядели, что это был немецкий обер-лейтенант. Лицо его почернело, зубы у него были маленькие и почему-то бурые. Я сделал ему перевязку, бинты мне дал подошедший к тому времени военный патруль.

На ужин мне выдали двойную порцию баланды. То, что американские истребители сбили здесь немецкую машину, нас, заключенных, очень взволновало. Что бы это могло означать?

143

Всего в десяти метрах грохочет Бродвей, за столиками в кафетериях Манхэттена мужчины подкарауливают друг друга, а где-то в жалких комнатушках в это время храпят их семьи; за празднично уставленными столами в роскошных отелях шуршат шелка и фрачные манишки, и течет по Таймс-сквер залитый неоновыми огнями человеческий поток...

А десятью метрами ниже, в мистическом полумраке бесконечных туннелей, существует другой мир, мир сабвэя. Бледные, усталые люди, подавленные громом пролетающих экспрессов, отрешенно бродят по платформам, ползут по железным ступеням грязных лестниц, спешат, вскакивают в купе — надо успеть, пока бледнолицый диспетчер не подал знак и двери не захлопнулись. Толкая и в ответ получая толчки, люди мечутся, словно пленники этого крысиного гнездовья, тощие, обливающиеся потом, бегущие света жадные стаи...

И каждый сам по себе, и каждый стремится продлить свою такую важную жизнь. Соломенная шляпа сдвинута на затылок, натренированный вечной жвачкой подбородок еще свидетельствует о силе и грубости, а в глазах, поднятых над краем газеты, уже тлеет покорная усталость. Случается, что, сидя на плетеной скамье, положив ботинок правой ноги на коленку левой так, что видна волосатая икра, и уставившись в газету, усталый янки задремлет...

И в то время как мозг его уже спит, а челюсти механически продолжают работать и газета медленно опускается все ниже и ниже, происходит нечто странное и удивительное.

Лицо этого развалившегося на сиденье почти элегантного человека постепенно преображается, из-под него проступает совсем другое, крупное и тонкокожее лицо жителя Манхэттена, еще усталое и жующее резинку, но уже странно прояснившееся, небритое, потное лицо человека, который во всем мире славится грубостью и деловитостью.

И видеть, как эти мрачные, словно обледеневшие, дикие и жадные до успеха лица оттаивают по дороге домой в экспрессе под Бродвеем — одно из самых волнующих зрелищ Нью-Йорка. Стиснутые, тонкие, как лезвие ножа, губы размыкаются, будто от воспоминаний о детских снах, жевательные мышцы перестают трудиться. И то, что мы видим теперь, кричит о милосердии, это лицо страстотерпца, полное обвиняющей небритой печали, а над ним нагло сдвинута на затылок соломенная шляпа.

Лицо мужчины Манхэттена крупное, на нем печать одиночества, эти люди привыкли цинично смеяться, чтобы скрыть свою ранимость. Их губы привыкли богохульствовать и ругаться, подбородки — чугунные, узкие глаза высматривают добычу, а под бледными лбами таится та энергия, которая породила биржевые схватки и небоскребы.

Взгляните, как они сидят на длинных скамьях бродвейского экспресса, вентилятор обвевает их,

огни пролетающих мимо станций бросают на них свои блики, взгляните, как они сидят, откинувшись назад, в том странном положении восковых фигур, какое в Европе никогда не увидишь, взгляните на эти бесчисленные лица, на которые пала роса усталости и которые так удивительно оттаивают и становятся поразительно прозрачными; в них проступает лик загнанного болью, полного страха создания.

И тот, кто под руинами вечерней усталости способен разглядеть в этих затененных лицах страх, тот широким мужским жестом снимет шляпу перед человеком из Манхэттена, прежде чем покинет сабвэй.

144

Самым сильным среди нас был Антон, по профессии мясник. От зари до зари мы работали в поле, убирая рожь. Каждый должен был пройти от тридцати до пятидесяти метров, увязывая снопы, потом косилка снова простречет мимо и швырнет к нашим ногам новые валки. Трудились мы, как дьяволы, от шести утра до девяти-десяти вечера, пекло невыносимо, и мы уже ничего не соображали и ничего не чувствовали, кроме отчаянного голода, боли в руках и бесконечного одиночества. В один из таких дней Антон, вязавший рядом со мной, вдруг упал. Я сам задыхался от усталости, пот ел глаза. Увидев, как Антон упал, я бросился к нему и поставил несколько снопов так, чтобы тень от них падала на него. Часовой с угрозой приблизился ко мне, и я отскочил на свою полосу. Тогда часовой пнул Антона ногой, опрокинул поставленные мной снопы и приказал соседям Антона слева и справа увязывать его валки. В раскаленной преисподней желтого ржаного поля это было выше человеческих сил. А часовой все кричал:

— Скорей, еще скорей, еще!..

С того дня я понял, что такое отчаяние. Антона вновь отправили в тюрьму. Он не выдержал.

Мы встретили тайного советника Д. Он медленно двигался по аллее. Мгновенно померкли цветущие каштаны. Изумительный день увял. Небо окаменело.

Тайный советник вышагивал, скрестив пальцы ниже спины. Трость волочилась за ним, будто обезьяний хвост. Влажная лысина сверкала, как зеркало. Серебристая гривка подпрыгивала в такт шагам, седая борода тянулась от уха до уха. И среди этих зарослей, словно белая гладкая тарелка, висело лицо. Чуть ниже начиналось пузо — тугое, раздутое, барабан — и только! Ноги-спички двигались осторожно, коленями внутрь. Надо сказать, что ниже пупа тайный советник представлял собой жалкое зрелище: верхний и нижний тайный советник никак не согласовывались. Верхний — в очках, с мудрой сединой и глубокомысленным выражением собственной непогрешимости. А вот нижний тайный советник разочаровывал. Но это, скорей всего, не имело значения, в должности котировалось только то, что было выше кафедры, то есть в крайнем случае до пупа.

И этот-то тайный советник Д. шагал нам обоим навстречу. Он остановился с улыбкой на лице, покачивая сзади тростью, подождал, пока мы не приблизились.

«Ах... симпатия... симпатия...» — насвистывало желтое пятнышко в кустах.

Малеен заинтересованно оглянулась на молодого человека, вскочившего на велосипед и тут же, петляя, укатившего.

— Молодежь, молодежь! Чтите молодежь,— провозгласил тайный советник.— Вы сами великолепно знаете, что я постоянно даю высказываться молодежи. Я чрезвычайно многого жду от плодотворного сотрудничества старшего поколения с младшим. Пожалуй, в этой области мои начинания подобны открытию. Да и наша литература призвана...

Рассматривая его, я начинаю сознавать бег времени и прихожу в ужас. Время — великий на-

смешник, оно любит сопоставлять: какой-нибудь экземпляр до употребления и... после употребления, молодой и старый, два разных человека, во всем друг другу противоречащих. Молодой человек — начало карьеры, старик — будто издевка над ней. Ах, господин тайный советник!

А тайный советник тем временем открыл свой фонтан. Струей лились наука, вера, будущее, этика, молодежь... Он говорил обо всем, о чем вещал с кафедры и чем прославился. Прищурив глаз, он фиксировал шарообразную мысль, ударял по ней и давал откатиться, демонстрируя блестящую партию в бильярд. Завершив какой-нибудь сложнейший дубль, он позволял себе заблудиться взглядом на маленьких голых ножках Малеен: изящные и загорелые, они стояли на песке.

Автомобиль, проехавший неподалеку, вспугнул тайного советника, он тут же оборвал свой речевой поток, ему явно помешали. А говорил он ровно сорок пять минут — нам хорошо было известно, что он и во сне способен секунда в секунду закончить академический час. Он тотчас же простился с нами и медленно зашагал по направлению к дому, должно быть подвергая психоанализу свои ощущения, связанные с лицезрением голых ножек Малеен, и принимая решение зафиксировать на бумаге результаты этих изысканий.

Вот он спускается по аллее. И, как ни странно, снова наступает лето, и лето это никак не соприкасается с тайным советником, вокруг него — пустота! Она всюду сопровождает тайного советника, как воздушный пузырь водяного жучка, бредущего по речному дну. В этой пустоте нет места лету, там должность, пыльные полки, пустопорожний ум и какое-то чахлое безумие, ибо безумие есть удел одиночек, обитающих в пустоте, а вот ум, пожалуй, можно назвать безумием всех.

146

Когда мы работали в один ряд, будь то при посадке картофеля, прополке или рыхлении свеклы,

то очень скоро, должно быть, по причине честолюбия ряд этот распадался. Все, кому были знакомы сельскохозяйственные работы, уходили далеко вперед, другие отставали. Кто быстро работал, получал поблажки — ведь он подгонял остальных! Однажды к нам на поле явился для инспекции обер-фельдфебель — полубог в галунах. Он заявил нашему надзирателю:

— Вы дружков подальше друг от друга расставляйте, а враги пусть рядом работают.

Издевательствам над нами не было конца. Когда вечером в сумерках мы плелись на станцию, нам запрещали класть тяжелые кирки и лопаты на телегу, и она пустая катила рядом. А мы, падая от усталости, грязные, в промокших от пота рубахах, тащили все на себе: и лопаты, и корзины, и ломы, на ногах — тяжеленные башмаки на деревянной подошве. И позади нас на фоне дождливого серого неба покачивалась заряженная винтовка часового...

147

Мы встретились во второй половине дня на мосту Непомука. Высокомерная, красивая, она шла мне навстречу, элегантная и избалованная дама. Мы зашли в винный погребок, где стояли старые, натертые до блеска деревянные столы, тускло горели две-три лампы, стены были закопчены до черноты и только в уголке сидело несколько старых молчаливых чехов. Мы пили красное южнотирольское вино, и слова наши пылали огнем. Мы пили и заглядывали друг другу в глаза, снова пили и снова смотрели в глаза. Потом мы вышли на Вацлавскую площадь, освещенную тысячью фонарей. Был канун дня св. Николая, и пражане делали закупки. Крестьяне в национальных нарядах предлагали всевозможную снедь. Оживленный говор, радостный смех. Она проводила меня до вокзала. Но вот мы снова посмотрели друг другу в глаза — лицо ее под широкими полями шляпы было бледно и светилось; оба разом кивнули и рассмеялись. Поезд ушел без

меня. Я махнул таксисту, и мы снова поехали к ней. В Берлин я отправился только четыре дня спустя.

148

Когда мы рыхлили свеклу, мы шли группами по десять человек, близко друг к другу, каждый обрабатывал три ряда. Надзиратель шагал вслед за нами. И сразу же начиналась ожесточенная борьба за существование. Большинство заключенных были уголовниками: мелкие воры, насильники, грабители, спекулянты. Они старались выслужиться, заработать дополнительную порцию баланды, и ряд наш распадался: кто-то уходил далеко вперед, метра на три от него отставали двое, метров на семь — еще несколько. Слабые отставали больше всех. А надзиратель их на этом и ловил.

На некоторое время мне удалось установить следующий порядок: впереди шел всегда один человек, который и определял темп, и каждый день он сменялся, а все остальные шли на одинаковом расстоянии от него. Так и самый вредный часовой не мог обнаружить слабейшего, и мы сами определяли темп работы, кстати не чересчур быстрый. Но затем кто-то выдал старшему надзирателю наши уловки и меня, зачинщика всего этого.

Меня лишили питания и в одно из воскресений заставили весь день чистить ботинки. Несколько пар сапог часовой нарочно бросил в ведро с водой, чтобы я их не смог начистить до блеска. А раз я не начистил их до блеска, то в наказание меня заставили три недели подряд чистить нужник. Так и рухнули наши планы совместного отпора из-за глупости нескольких заключенных.

149

Как-то, встав на якорь посреди Тегельского озера, далеко от берегов, мы прыгнули нагишом в воду — до чего ж славно так плавать! Вдруг я заметил целую стаю гоночных яхт, с сильным по-

путным ветром мчавшуюся прямо на нас. Мы и не заметили, что бросили якорь в месте, обозначенном для поворота яхт. Первым достиг лодки я, но Г. в последнюю минуту тоже успела схватиться за борт и с трудом перевалиться через него. Разрезая волны, к нам подрулил катер с руководителями гонок, и они тут же принялись орать на нас, однако, увидев красивое и смеющееся лицо Г., успокоились. Мы потом долго еще смеялись, покуда тридцать гоночных яхт разворачивались вокруг нас.

150

На уборке картофеля нас, заключенных, ставили по двое, потом отмеряли тридцать метров на каждую пару. Тут же начинала работать картофелекопалка, выбрасывая клубни — полоса была метров пять шириной. Каждая пара должна была выбрать картофель на своих тридцати метрах, покуда картофелекопалка не выбросит новую партию. Все как будто очень просто. Но картофелекопалку тянула пара сильных лошадей, и старый заключенный, уже выслуживший себе доверие начальства, не переставая, подгонял их. Не успевала первая пара заключенных, работая изо всех сил, выбрать полосу двадцать метров длиной, как на нее уже сыпались новые клубни. И теперь этой паре надо было выбрать еще десять метров первой полосы и тридцать метров новой и успеть до того, как снова подойдет картофелекопалка. Работали мы от восхода до захода солнца, согнувшись в три погибели, весь день шныряя, будто хорьки, по полю. Руки так и рыскали по земле. Нас подгоняли так, будто дело шло о жизни и смерти. Хотя стоял октябрь, пот катился с нас градом, и мы страстно молились, чтобы поскорей зашло солнце и можно было добраться до коек.

Кое-кто из нас тайком ел сырые клубни. Печь картофель было строго-настрого запрещено. А когда мы, усталые как собаки, голодные и грязные, возвращались в тюрьму, нас еще обыскивали. За-

подозренных заставляли раздеваться догола — и горе тому, у кого в нижнем белье находили картошку. Вечернее благословение низвергалось на него в виде двух увесистых надзирательских кулаков. Словно рабы, мы без передышки работали на картофельном поле, недель шесть, почти теряя сознание. Некоторые его действительно теряли.



Юность не умеет уважать.
Уважение постигается страданием.

151

Шляпа слетела с головы, зеленые ящерицы снуют под ногами, из виноградников доносится сладкоголосое пение: поют женщины, поют непонятные песни, такие, о которых мечтают мечтатели.

Из сумрака долины поднимается гора, увенчанная развалинами; кажется, будто красноголовый великан вот-вот утонет во мраке, его лоб уже захлестывают волны кровавого заката. Но мрак этот совсем не похож на убийственный северный

мрак, это мягкая южная ночь — со свистом проносятся летучие мыши, таинственно шелестят пальмы и льется песня. Под крылами южного ветра и трава и листья звенят, словно цикады. Но все эти близкие звуки ничтожны рядом с могучим ревом, поднимающимся снизу. Это тот же могучий голос, который когда-то слышал Ганнибал, слышал и Одиссей,— это древний одухотворенный голос средиземноморского прибоя. И из него словно вырастает лишенный четких очертаний профиль императора Тиберия, некогда сгоравшего на этом острове от сладострастия, высохшего и дрожащего под пальмами, терзаемого предчувствиями смерти...

...А в это время его прокуратор Пилат на другом берегу тщетно старался распять на кресте поднимающуюся эпоху. Прибой этот стар и напоен кровью истории, он поседел от тысячелетий, он гриваст и игрив, он ревет, будто необозримое стадо мучимых жаждой коров. Он жаден до судеб. Он будет реветь и тогда, когда наше время уже превратится в пыль и уйдет на три метра в глубину. Нет, Одиссей еще не причалил, кричит прибой, и прозрачно-стеклянный молот разбивает скалы острова.

Наутро все светло и спокойно. Между олеандрами небесной голубизной сияет утихомирившееся море. Воздух чист и ласков. Среди зелени белеют виллы, деревья увешаны апельсинами, обилие цветов. Величественно шуршат пальмы, и только песни все те же, как и поющие их в виноградниках женщины.

Внизу, у воды, раздеваешься. Песка здесь нет, одни скалы, о которые разбиваются волны, примчавшиеся сюда из Африки. Вздыбившись, они разлетаются брызгами. Здесь все не так, как на берегах Рейна, здесь не побежишь голым по песочку, по траве и в воду. Песка нет, только осыпи, острые зубы базальта, рубцы в лаве — нехорошо для ног.

Лучший совет дают местные жители. Взберись на скалу. Если вода под ней зеленая, значит, глубоко, ты и прыгай. Прежде всего поплавай вволю,

потом доберись до тихой воды. И тогда начнется самое прекрасное, никем еще не воспетое купание в Средиземном море.

Под сияющим солнцем ты лежишь на спине, откинув голову и закрыв глаза, позволяешь волнам, тихо покачивая, нести тебя. Вода шлепает в уши. Порой по лицу твоему пробегает стеклянно-прозрачная тень. Кругом вода, и над ней в невообразимой высоте серебристая синь итальянского неба. А ты сам словно сверкающая серебром рыба, которую уносит с собой это море тысячелетий.

Но вдруг ты рывком переворачиваешься и медленно, брассом плывешь к берегу. Но не забудь опустить пониже голову, чтобы глаза твои оказались под водой. Посмотри вниз. При ярком солнце зрелище это незабываемо. Где-то глубоко сияет дно, и на нем солнце. Белые камни сверкают. Ты будто паришь над огромным зеленым залом, словно обретшее плоть облако, проносишься над невидимыми сводами, которые покоятся на светлых колоннах солнечных лучей. Сколько тайн скрыто под этими сводами!

То бани цезарей. Они хранят последние вздохи утонувших, воды эти испортили смерть менадам. Под этими молчаливыми, жуткими сводами тысячелетия назад погибали ничего не подозревавшие люди. А ты, раскинув руки, паришь над ними — любопытный потомок, обозревающий историю.

И вдруг ты замечаешь, как стайка серебряных рыбок пересекает солнечный луч. Неожиданно они пугаются, заметив огромное чудовище, подкарауливающее их. Как крохотные молнии, они метнулись под другие зеленые своды. И только одна, совсем малышка, отстала и очень спешит догнать остальных.

Дни напролет ты можешь так плавать, и ничего особого не случается. Но вот ты прыгаешь со скалы вслед за бутылкой, которую сам бросил в воду. И когда ты ныряешь, вдруг рядом с тобой оказывается голова: маленькая, лысая детская голова с огромными грустными глазами, которые удивленно рассматривают тебя. А ниже головы

что-то трепыхается, извиваясь по-змеиному. И действительно, это маленький полип.

Оба мы пугаемся и шарахаемся в сторону, загребая изо всех сил. Уже сидя на скале, ты начинаешь размышлять. Это один из тех маленьких полипов, которые как раз умещаются на тарелке, когда их подают к ужину в отеле «Остерия Савойя». Но когда ты их встречаешь под водой, живых,— тогда совсем другое дело, не правда ли?

Особенно когда вспомнишь эти глаза на детской головке — какие они грустные и какие древние, будто видели из этой глубины взлет и падение того самого Тиберия. Теперь-то маленькие эти полипы играют и резвятся в банях цезарей, и лишь изредка какой-нибудь назойливый пловец нырнет к ним в глубину, чтобы тут же поскорей исчезнуть.

И каждый раз это другой, их много, таких мужчин, и век их короток.

А прибой Средиземноморья вечен, вечны необозримые зеленые залы в глубине этого величественного моря, которое мы, северяне, всегда стремились достигнуть, вспомним хотя бы битвы кимвров или наши нынешние столь торопливые путешествия. Это море самой истории, и, купаясь в нем, не забудьте взглянуть на его древнейшее, такое таинственное дно.

152

Когда мы вечером, усталые и отупевшие, останавливаемся у ворот, нас еще долго обыскивают. Бывает, что приходится раздеваться догола. При этом мы пользуемся случаем переброситься словом со старостой из заключенных, дежурящим у ворот. Как-то у ограды мы увидели два длинных, грубо сколоченных ящика. Спросили, что это.

— Гробы,— шепотом ответил он, делая вид, что поглощен чисткой дверной ручки.

Вон оно что! Один из нас, стоя по стойке «смирно» и глядя в другую сторону, спросил.

— А сколько гробов требуется для нас в день?

— В среднем два,— ответил староста, пронося мимо ведро с золой.

Раздалась команда, и мы тронулись. Позже в камере мы стали подсчитывать: в год, значит, нас умирает семьсот человек, а всего здесь около тысячи заключенных. Получается, что через полтора года мы вымрем все до последнего, если, конечно, не будет новых поступлений. А они, правда, каждый день прибывают.

Обычно из нашей среды назначали двух помощников в лазарет. Но это не должны были быть врачи, которых среди нас все же имелось несколько и которые клеили пакеты и плели корзины. Сила — вот что требовалось для работы в лазарете. Основная обязанность была таскать мертвецов. В мое время одним из таких помощников при лазарете был мясник, а вторым — трактирщик. Начальником их был фельдфебель санитарной службы, для которого все мы делились на три категории: здоровый, мертвый и симулянт. Тяжелобольных он избивал. Все мы ненавидели и презирали его. Ходили слухи, что при тюрьме был и врач. Даже имя его называли — доктор Мюллер. Но мы его звали доктором Невидимкой. Кое-кто даже утверждал, что ходил к нему на прием, но это были явные зазнайки. У нас умирали без врачебной помощи. И очень успешно.

153

Она была балериной, и вечером всей ее труппе предстояло танцевать перед Гитлером. Маленького роста, изящная, она сказала мне: «Я тебя уж как-нибудь проведу».

И вот я сижу в торжественном зале мюнхенского Дома художников среди нескольких сот артистов и художников — это было в последний День германского искусства перед войной,— а там, на диване, сидит он. Рядом с ним — серолицые нацистские паладины: Гиммлер, Эпп, Геббельс, Шпеер и другие. Справа от него, откинувшись на спинку, сидел Шпеер, остальные — вокруг стола. За столиком рядом в белых мундирах а ля смокинг

разместились адъютанты-эсэсовцы с теми наглыми, лишенными всякой мысли физиономиями, которые, должно быть, отличают расу господ. На них не было отпечатка никакой идеи, никакого трагизма, никакого неистовства, ни следа одухотворенности, в них было лишь одно: розово-блондинистое «ать-два», вера в четкую команду. Здесь сидела арийская машина Германии, исполнительный нацистский аппарат того гладковыбритого варварства, которое ведет свое происхождение от ледникового периода.

Странный это был спектакль: стоило человеку, которого они называли фюрером и который в тот вечер разыгрывал из себя обыкновенное, земное существо с добродушно-удивленным взглядом, стоило ему сказать слово, как все паладины сгибались, устремляясь к одной точке — к губам всесильного с кисточкой над ними. Казалось, ветерок преданности бесшумно пригибал гордые стебли, и мне оставалось лицезреть лишь жирные, складчатые затылки нашего имперского руководства.

И это не все. Одутловатый Гитлер, приняв волну преданности, сам фамильярно наклонялся к Шпееру, сидевшему по правую руку от него и время от времени изрекавшему несколько скучных любезностей. Предназначавшееся ему восхищение фюрер передавал Шпееру, и получалась некая эстафета преданности. Шпеер здесь выступал в роли обожаемого возлюбленного, принимавшего знаки поклонения, словно кассир денежную мелочь.

Чудовище с оплывшей физиономией просидело в кругу своих подручных с десяти вечера до пяти утра, вяло потягивая фруктовый сок.

А я, сидя примерно в десяти метрах, все это время не спускал с него глаз, и чем больше я смотрел на него, тем больше ненавидел. Передо мной на диване сидело проклятие Европы, наряженное в мундир, отвратительный и коварный паша, гаремом которого было его войско, владыка миллионов автоматических пистолетов и маг, повелевающий шестьюдесятью миллионами немецких сердец, серенький, обмякший, с полуопущенными ве-

ками, восточный идол в смокинге, исполненный той обыденной жестокости, которую наш народ в нем так любил.

154

В один из самых ужасных дней, когда мы, безжалостно подгоняемые надзирателями, еле держась на ногах от голода, с посиневшими лицами, по колено в мокром снегу, валили деревья, а декабрьский штормовой ветер рвал с нас наши тюремные лохмотья,— в этот день заплакал Франц, наш силач. Сотрясаясь от отчаяния, он прижимал лицо к стволу сосны и громко рыдал.

К тому времени голод нас совсем извел. Но в тот день мы сквозь завывание ветра услыхали какой-то новый, странный звук, который, все нарастая, в конце концов превратился в грохот. Звук этот шел сверху, и вдруг среди качающихся крон бесконечного леса мы увидели их: много-много крошечных серебристых стрел. Это были американские самолеты. И грохот моторов был совсем близко. Все мы стояли, задрав головы, и даже наш силач Франц стал смотреть в небо. Он уже не рыдал. В тот день мы впервые увидели их и задались вопросом: что бы это могло означать? И докуда уже докатилась война? И как вообще обстоят дела на фронтах? Существовало еще что-то, помимо нашей беды. Где-то шла война.

155

Ах, эти холлы, где останавливаются и вновь взмывают вверх десятки лифтов! И экспрессы, и обычные, и все бесшумные. Холлы эти как сверкающие и жужжащие вокзалы. Маленький домик словно выстреливается на шестидесятый этаж и мягко опускается снова на первый. А внутри стоим мы и, когда входит дама, снимаем шляпу и не надеваем ее, покуда она не выйдет. Есть некоторые формы вежливости, которых здесь придерживаются с китайской педантичностью. Как-то я решил поиграть в европейца и, углубившись в изучение какого-то плаката, не снял шляпу, когда

вошла дама. И тут же почувствовал на себе каменную тяжесть взглядов. Обернулся. Все очень строго смотрели на меня — около сорока мужчин и одна дама. Я снял шляпу.

156

Когда я был дровосеком — а я был им в течение целой зимы,— надзиратель однажды привел черную дворнягу.

— Хозяин говорит, надоела она ему. Можете сварить,— сказал он, отвязывая ее от велосипеда.— Молли зовут.

Нас было двенадцать заключенных, одетых в лохмотья. Мерзли мы ужасно и голодали. Обед нам привозили в лес — двенадцатилитровый бак с водянистой похлебкой. Проглотив ее наскоро, мы грелись немного у костра. Работали мы топорами и поперечной пилой, стоя по колено в мокром снегу. Все мы были жадные, опустившиеся и оборванные. Мясник подозвал собаку. Виляя хвостом, она подбежала к нему.

Я со своим партнером резал двадцатитрехметровую сосну — падая, они сначала свистят, потом шуршат и с грохотом, сотрясая землю, умирают,— когда вдруг услыхал визг собаки.

«Нет, ни кусочка в рот не возьму от мяса собаки, которую звали Молли!» — тут же поклялся я. В обед мы со своими жестяными мисками сгрудились у костра. Отсветы пламени плясали на диких, небритых и жалких лицах каторжников. Изумительно пахло жареным мясом. Мясник даже после того, как я отказался, протянул мне ложку: «На, попробуй!» И я попробовал. И я съел свою порцию, кусок величиной с кулак, и все мы жевали мясо с тем блаженным чувством, какое способны испытывать только голодные и отверженные люди. Мясо! От сытости нас покачивало, будто пьяных. Наши посиневшие, распухшие руки еще дрожали от напряженного труда, но мы уже сыто смеялись, жалко насвистывая при этом. Впрочем, двоих потом вырвало. Но не потому, что им было противно, а с непривычки.

В тюрьму мы в тот вечер вернулись королями. Все остальные заключенные с завистью смотрели на нас, будто мы не люди, а боги. Мы съели собаку, которую звали Молли.

157

Когда я, не будучи приглашенным, ужинал у Гитлера и сидел среди многих художников и артистов третьего рейха, я заметил, что примерно около полуночи всемогущий изволил принять дам. Забéгали адъютанты, и, шурша вечерними платьями, по длинному проходу поплыли к нему знатные дамы Мюнхена. Неестественно возбужденные, с трясущимися бюргерскими жирами, каждая — видавший виды фрегат, они выруливали, нежась в струях теплого ветерка, исходившего от фюрера. Должно быть, в парикмахерских и салонах мод уже многие месяцы дым стоял коромыслом от приготовлений к этой ночи. И теперь шедевры Мюнхена, надушенные и расцвеченные, столпились у гитлеровского стола, как стая горделиво кудахчущих кур.

Потрясающая минута! Я затаил дыхание. Один за другим могучие фрегаты склонялись в реверансе, «германские женщины» ловили руку самого немецкого из всех немцев и целовали ее. Мне она была хорошо видна: нечто белесое, словно налитое гноем, свисало со столика.

А он, оставаясь сидеть, время от времени дарил их скучающе-милостивым взглядом, не прерывая при этом беседы с господином Шпеером. Я поскорей осушил бокал, дабы удостовериться, что нахожусь не в языческом храме среди варваров, а в самом центре возлюбленного отечества. Однако вино показалось мне горьким — ведь у отвращения всегда горький вкус.

158

Шмитт-88 звали одного пожилого заключенного, живописно драпировавшего лохмотьями свою отощавшую фигуру. До тюрьмы он был музыкан-

том, трубачом, артистом, как он сам себя называл. Весил он не более сорока килограммов, и страсть у него была одна — табак. Из клочка газетной бумаги он сворачивал нечто похожее на рог, собирал в него всякий мусор, картофельную ботву, листья и очень глубоко затягивался. Один раз в неделю каждому заключенному выдавали кусочек жира величиной с почтовую марку, но некоторые и его меняли на сигареты. И таких было немало. И все они скоро умерли. Опытные каторжники говорили Шмитту-88:

— Так ты и полгода не протянешь.

Но старый музыкант только смеялся в ответ, уверяя, что в похлебке тоже есть немного жира. Без курева он не может, а без маргарина как-нибудь да проживет.

И полугода не прошло, как он умер.

Мы об этом узнали, возвращаясь с работы. «Говорили ведь ему...» — таков был некролог старому артисту. Чувств мы никаких уже не испытывали, когда кто-нибудь умирал. В те долгие годы умирали слишком многие, и каждому из нас приходилось изворачиваться, чтобы не попасть в их число.

159

В Бонне я, молодой заведующий литературной частью боннского театра и дипломированный филолог, каждый день ходил в театральное кафе, чтобы просматривать газеты того большого мира, о котором так мечтал. В то время моя пьеса «Подлодка С-4» была принята к постановке в берлинском театре «Фолькcбюне» и одновременно во многих других театрах Германии. Для меня это было время какого-то дикого, чудовищного напряжения. Коллеги завидовали мне, студенты удивлялись. В университете мне предстояли кандидатские экзамены, но я уже ничего не зубрил, мне было наплевать на них. Главный режиссер боннского театра шепнул мне в длинном коридоре, что его театр тоже берет мою пьесу. Это было невиданно. Меня лихорадило, я сидел, будто пригото-

вясь к прыжку. А маленькая хорошенькая Паула приносила мне кофе, и я частенько оставался у нее в долгу.

160

Когда я работал на фабрике кровельных материалов, то, кроме нас, пятерых заключенных, там был еще один военнопленный — француз. Звали его Гастон. Стройный, сильный, ловкий и интеллигентный, он был одним из самых приятных людей, каких я когда-либо знал. У нас он был чем-то вроде бригадира и в то же время чудесным товарищем. По вечерам, когда Гастон возвращался к себе в лагерь для военнопленных, он тайком забирал у нас письма к родным и в темноте бросал их в почтовый ящик.

Едой он тоже делился с нами. Всегда веселый, он пел все партии баритона, какие существовали на свете, и нежные парижские песенки, неся при этом рулон толя на плече, весивший как-никак тридцать пять килограммов.

Иногда он тайком приносил нам газету, чего немцы никогда не делали. Мы жадно набрасывались на нее. В конце концов он даже принес нам письма от родных. Так Гастон стал посредником между нами и нашими любимыми. Это был не человек, а праздник, истинный друг, человечнейший из человечнейших французов. Привет ему!

Больше всего люди страдают от того,
что не умеют забывать
и не хотят быть забытыми.

161

В Нью-Йорке босс приказал мне написать восемьдесят строк о мисс Амелии Плакер. Я поехал в Funeral home, где означенная мисс лежала на смертном одре. В часовне у открытого гроба в цветах тихо переговаривались родственники и священник. Усопшая была известной благодетельницей. На скамьях, где все мы разместились, лежали бумажные веера — было очень жарко. На них красивыми*



* Funeral home — в США помещение, снимаемое для гражданской панихиды.

буквами было напечатано, что Funeral home Кэмпбелла — наилучшая и самая дешевая погребальная контора.

Под конец все мы прошли мимо гроба, в котором мисс Плакер лежала в светло-сером вечернем платье, превосходно причесанная и загримированная. Ей даже изобразили улыбку на лице. Похожа она была на несколько утомившуюся распорядительницу танцев на каком-нибудь семейном балу. Я вспомнил, ведь именно этот Кэмпбелл пустил в оборот рекламный лозунг: «Умирайте красивыми». Сей лозунг и сделал из бедного шотландского эмигранта миллионера. Оказывается, очень многие жаждали умереть красивыми. В самом Funeral home стоял тридцать один гроб, каждому покойнику был отведен один час на панихиду. Родственникам умершего достаточно было снять телефонную трубку — обо всем остальном позаботится Кэмпбелл. Он же известит прессу.

В тот же вечер я в репортерской написал восемьдесят предписанных строк, а мог бы написать книгу о смерти в этом мире.

162

В последний день они отобрали тринадцать политических и те стояли во дворе с вещами на ледяном ветру. Впервые мы увидели их на перекличке в гражданском — с маленькими чемоданчиками в руках, продрогших и насторожившихся. Нас было несколько сот человек, выстроившихся в сером утреннем сумраке на тюремном дворе. Вдоль шеренги суетились надзиратели. Переговариваться с отобранными нам было строго-настрого запрещено. Они только пожимали плечами, давая понять, что не знают, куда их отправляют. Оставались считанные дни до полного краха третьего рейха.

Неожиданно на тюремный двор въехал грузовик с зажженными фарами. Вот оно что! Однако из кузова выскочили не надзиратели и не полицейские, а лица в штатском. Гестаповцы! Мы притихли. Гестаповцы, достав из карманов пальто наручники, наложили их на каждого из тринадцати

заключенных. Затем их заставили влезть в грузовик, и машина укатила.

— Остальных девятерых завтра! — крикнул перед отъездом один из гестаповцев.

Заключенные украдкой поглядывали на нас, девятерых политических. Значит, завтра приедут за нами. Но когда настало это завтра, пришли русские.

163

Перекинув куртку через плечо, я поднимаюсь после полудня по петляющей меж виноградниками тропинке, вымощенной еще древними римлянами. Повсюду пылают розы и тысячи других южных цветов. В виноградниках лениво напевают крестьянки. Иногда они находят здесь монетки времен Тиберия. Жарко. Я совсем один и, лениво ступая, счастливый, поднимаюсь наверх. Достигнув городка Капри, я не могу налюбоваться романтичной базарной площадью, окруженной белыми домиками, столь похожей на оперную декорацию. Сажусь за столик, выставленный перед кафетерием, выпиваю эспрессо, наблюдаю за происходящим вокруг. Позднее Джованни накормит меня в «Остерия Савойя», тогда я выпью немного вина и буду смотреть, как над синим морем зажигаются огни Неаполя, покуда весь горизонт не превратится в сверкающую горную цепь. Но тогда уже и все итальянское небо надо мной будет усыпано звездами.

164

Свой последний рабочий час в третьем рейхе я провел на свалке в Лукау, где с двумя другими желтыми от пыли заключенными разравнивал мусор. Ни с того ни с сего завыла сирена. Без перерывов, долго-долго. Быть может, минут десять, может, и дольше. Что это значило, мы не могли понять. Надзиратель, сопровождавший нас, засуетился, он явно нервничал. Побледнев, он снял карабин с предохранителя и приказал нам построиться. Мы двинулись к тюрьме. Мясник нашел среди мусора несколько полусгнивших картофелин и

спрятал их на себе. Надзиратель видел и не набросился на него. Что случилось?

По дороге мы услышали, как велосипедист, проезжая мимо фуры, крикнул вознице:

— Тревога!

Он крикнул не «воздушная тревога», а просто «тревога»! Может быть, высадились десантники? Мы встревожились. Пройдя дальше, мы увидели, как группа людей заваливает улицу камнями и песком.

Кто-то крикнул нашему надзирателю, у которого было очень бледное и ожесточенное лицо:

— Перестреляй их, сволочей!

Но вот с грохотом захлопнулись за нами тюремные ворота. В последний раз. А в пропускной дежуривший там заключенный шепнул:

— Русские пришли!

Мы не поверили.

Сколько раз мы принимали подобные слухи всерьез. А потом — одно разочарование.

Но русские действительно пришли!

165

Часто мы ездили изумительной лесной дорогой к Закровскому озеру и сидели в ресторанчике над водой. Потом ходили гулять и располагались где-нибудь на безлюдном лесистом берегу. Озеро это — одно из самых красивых здесь. Кожа наша постепенно делалась коричневой от солнца, а губы — красными от поцелуев. Давно уже это было!

166

И вот наконец настал наш час. Утром, около семи, мы, сорок человек, допущенных к наружным работам, вдруг услыхали за тюремной стеной тысячеголосый крик. В окно нам был хорошо виден огромный главный корпус с бесчисленными зарешеченными оконцами. К ним сейчас прилепились белые лица, руки махали в сторону ворот. Будто белесые колоски горя на ветру. Мы бросились вниз, сбив с ног надзирателя. На огромный, еще

пустой тюремный двор со всех сторон выбегали заключенные и устремлялись к воротам. А там стоял он.

Красноармеец огромного роста в меховой ушанке, с автоматом на груди что-то кричал нам и махал рукой. Враг? Освободитель!

Скоро нас собралось уже несколько сот человек, и все вне себя от возбуждения. Мы плакали, обнимали друг друга, прыгали от счастья. Красноармейцу жали руки, целовали его. Некоторые сидели на земле и плакали. Нас становилось все больше и больше. А русский, само олицетворение могучей силы, смеялся во весь рот так, что только зубы сверкали. Подошли еще несколько красноармейцев и двинулись в здание тюрьмы, а следом мы, заключенные, с криками, песнями, смехом.

167

Когда она наконец получила свою машину — черный элегантный двухместный «адлер» с сиденьями, обитыми красной кожей, мы по автостраде поехали в П. Остановиться мы решили где-нибудь в лесу. Увидев впереди стоянку, я сказал:

— Вон там, подай вправо и затормози.

Водитель она была неопытный и въехала на стоянку со скоростью восемьдесят километров, потом резко затормозила — машина так и подскочила. Я крикнул:

— Дай газ!

Она действительно нажала на акселератор и выехала снова на полотно, спокойная, только чуть побледнев. Мне это понравилось. Не рассчитав скорость, она все же отреагировала спокойно и правильно. А когда мы остановились на следующей стоянке, она рассмеялась.

168

В час Освобождения мы, неистовая орда заключенных, ворвались в главный корпус с его сверкающими коридорами, по которым нам разрешалось ступать только в носках. То было царство самого ненавистного надзирателя, маленького, жи-

листого, похожего на бульдога человечка по прозванию Грозный. Мучитель и кровопийца № 1. На всех четырех этажах томившиеся в камерах барабанили в двери, кричали.

Чудовищный гвалт нарастал с каждой минутой. Мы искали Грозного. Бегали по этажам, спрашивали. И наконец его приволокли — посеревшего от страха, жалкого, с трясущейся нижней челюстью.

— Вот ключи,— дрожащим голосом пробормотал он.

— Отпирай! — кричали мы.

Как только он отпер первую камеру, из нее, будто пантеры, вырвались трое заключенных и сразу же схватили Грозного за горло. Мы разняли их. Камеру за камерой он отпирал теперь собственноручно. Некоторые заключенные плакали, выходя; другие покидали свое узилище бледные как полотно, пошатываясь, а кое-кто вылетал из камеры пулей в совершеннейшем бешенстве. Почти все сразу же бросались на Грозного — сколько лет он ежедневно измывался над ними, избивал до крови! В конце концов все двери были отперты, и шестьсот человек, вырвавшись на свободу, устроили нечто похожее на ведьмовской шабаш. Когда я спускался вниз, от Грозного уже не осталось и мокрого места.

169

Мы сели в роскошный огромный автомобиль. Наконец-то мы снова повеселимся вволю. Со скоростью сто двадцать километров в час я промчался по Хеерштрассе. Фонари пролетали мимо сплошной вереницей. Урчащая песня мотора, свистящий ветер, белая как снег лунная ночь... Это была несказанно прекрасная поездка! В лесной избушке в Гатове мы пили коньяк. Потом поехали назад. Но я свернул на дорогу в Шильдгорн, одиноко раскинувшийся в ночи. Яркий свет фар врезался в лесную чащу, и я, съехав с дороги прямо по снегу, вкатил в лес. Затормозил и выключил фары. Она засмеялась. В машине было очень тепло. Ее бледное лицо приблизилось ко мне, словно маленькое трепещущее облачко.

Красноармейцы отперли все двери, но охраняли ворота, никого не выпуская. Теперь мы сами были хозяевами тюрьмы, но все первые часы царило какое-то неистовое бешенство. При блеклом дождливом апрельском освещении на дворе валялись пьяные, повсюду слышались крики — заключенные гонялись за надзирателями. Теперь мы травили их. Кое-кто уже облачился в свою штатскую одежду. Кто-то волок умершего через двор. Одна группка раскуривала русские папиросы, другая распивала бутылку водки. Кого-то рвало. Еще где-то били старосту. Из окна летели какие-то бумаги. Звенело разбитое стекло. Трещали взламываемые двери. На промерзших, изголодавшихся, изможденных лицах диким, безумным огнем горели глаза.

В решающие минуты лучше иметь плохую память и удачные мысли, чем наоборот.

171



Странное у меня было чувство, когда ровно в восемь взвился огромный занавес одной из самых больших сцен Европы; внутренним взором я увидел, как взвилось еще шестнадцать занавесов — шестнадцать театров в тот вечер ставили мою пьесу. Георге был великолепен, Штрауб тоже. Аплодисментам не было конца. Когда я вышел на сцену, передо мной бесновалось море возбужденных лиц. Я слышал громоподобный грохот и топот тысячи ног. Георге то вытаскивал меня на сцену, то

уводил за кулисы. Женщина в первом ряду что-то крикнула. За кулисами Пискатор, которого я тогда впервые увидел, дал мне номер своего телефона и попросил позвонить в ближайшие дни. Все это было очень странно. Человек с изумительным лицом — Фелинг — обнял меня и сказал: «Но луну вы в следующий раз непременно уберите». Впоследствии я присутствовал на многих премьерах, но никогда не бывал так возбужден, никогда так не чувствовал себя, словно во сне, как в тот, первый раз.

172

Только успели открыться двери, как начался штурм кухни. Сотни людей с криком рвались в пекарню, на кухню, в подвал.

Буханки хлеба мгновенно исчезли с полок. Стоя, словно на молитве, и прижимая к груди хлеб обеими руками, как малое дитя, заключенные, плача, впивались в него зубами. В подвале произошла свалка, бочки с кислой капустой были раздавлены, бидоны с сиропом разбиты, люди, упав на пол, лежа лизали сладкое сусло. На свисавшей с потолка туше повисла гроздь тел, мясо рвали зубами, люди хватали куски маргарина прямо с бумагой. В конце концов все это рухнуло вниз, в сироп и в капусту, на растоптанный хлеб. Отталкивая друг друга, люди в каком-то экстазе грызли сырое мясо, давились, хрипели. Сверху слышно было только, как что-то урчало и топало в подвале, будто там ворочалось огромное тысяченогое животное, и имя этому животному было голод.

173

На курсе микроскопии я присутствовал при удивительных событиях. Служитель в лаборатории ножницами отрезал лягушке голову, проколол булавкой позвоночник, вытащил из пасти крохотный кусочек пленки, а профессор объяснял студентам в белых халатах все, что они видели под микроскопом. Перед моими глазами возникло поле, поросшее зеленоватыми стебельками, которые колыхались от неведомого ветра. И все это в каком-то

зеленовато-стеклянном свете. В Институте физиологии я был свидетелем того, как у кролика удалили брюшную стенку и заменили ее прозрачной мембраной, чтобы можно было наблюдать работу кишечника.

174

Через час после нашего освобождения в канцелярии тюрьмы собрался Комитет заключенных. Это были шестеро политических: Франц-пекарь, Юпп, Альфред, Алекс, Пауль и я.

Так как русский капитан сказал, что сразу нас не отпустят, нам необходимо было немедленно самим прекратить беспорядки. Мы созвали друзей, очистили кухню и объявили во дворе всем, что отныне будет соблюдаться определенный порядок, наш порядок. Всего нас было около тысячи человек. И всех надо было обеспечить питанием, больных — лечить, грязь следовало убрать, надзирателей посадить под замок, раздать личные вещи и одежду, привести в порядок документы в той мере, в какой они еще сохранились. В течение восьми дней мы вшестером трудились не покладая рук, делая то, чем прежде занимались восемьдесят служащих. Но мы справились.

Постепенно навели чистоту и строго за ней следили, разоренный лазарет восстановили, наладили приличное питание — по два литра в выдачу, распределили все личные вещи, причем не поступило ни единой жалобы. Мы устраивали на тюремном дворе концерты, а распорядок дня регулировался звонками. Неисправимых уголовников подчинили честным заключенным. Мы были сами себе хозяевами, ключи мы носили при себе, мечта стала действительностью.

175

За три года до того, как появиться на свет, наш сын жил уже в письмах, которые мы посылали друг другу. Три года он путешествовал в грязных тюремных конвертах по Германии — из Моабита в Зоренбом, из Зоренбома в Лукау, из Лукау в Потсдам. Распечатав конверт и прочитав о сыне, каж-

дый из нас улыбался счастливой улыбкой, как бы мрачно ни было все вокруг. Сын наш лепетал за тюремной решеткой, его рябячий визг раздавался в тишине камеры. Еще полный впечатлений, прибегал он от мамы ко мне, захлебываясь, рассказывал, передавал привет. Он был подобен лучу света, скользнувшему по размытым слезами строкам прямо мне в сердце. Он был предвосхищением свободы, нашим будущим, о котором мы шептали друг другу, он был ожиданием, согретым нашим теплом. Он был нам сыном, и вестником, и счастьем еще до того, как ступил на эту землю и принес счастье.

176

Всех надзирателей мы заперли в помещении кассы — в узкой комнате стояли сорок шесть человек, стояли так два дня и одну ночь. После этого их бравого, воинственного вида как не бывало. Пропал и их звериный рык, растаял, как снежинка, упавшая на курительную трубку. Стояли они, тесно прижатые друг к другу, как в переполненном трамвае, а бывшие заключенные дразнили их через кассовое окошко. Внутри же — кто скулил, кто ожесточенно молчал, а у третьих появился такой нежный голосок, какого прежде никак нельзя было предполагать у этих старых взбесившихся горлодеров. Но мы все равно никого не выпускали.

Позднее мы разместили их по камерам. И когда бывший заключенный избил в кровь одного из самых подлых надзирателей, мы этого заключенного тоже посадили под замок.

177

Студентом я снимал комнату у зубного врача. У хозяина была дочь — хорошенькая, всегда веселая блондинка маленького роста, студентка Института физической культуры. Прошло немного времени, и как-то вечером она тайком пробралась ко мне в постель. Прошло еще немного времени, и, возвращаясь усталый, я каждую ночь заставал ее в своей кровати. Прошло довольно много времени, прежде чем я съехал с этой квартиры.

178

178

К нам в комитет прибежал запыхавшийся заключенный.

— В бельевой двое чужих. Никто их не знает.

Мы отправились наверх. В полутемной бельевой, за тюками белья, стояли двое неизвестных, подозрительно поглядывая на нас. Сразу я понял, что это не заключенные, хотя они и были одеты, как все мы: уж очень у них были гладкие, откормленные физиономии.

— Что вы тут делаете? — спросил я.

— Катаем белье.

— Да это ж надзиратель Мейер! — крикнул один из наших. И действительно, это оказались надзиратель Мейер и старший надзиратель Б. Оба от страха стучали зубами. С посеревшими лицами они стали уверять нас, что всегда вели себя хорошо по отношению к заключенным и готовы работать на нас до кровавых мозолей.

Чтобы предотвратить расправу, я быстро повел обоих к пропускной. Там мы их втолкнули к остальным надзирателям в помещение кассы. Никто их ни разу не ударил. А они избивали нас тысячу раз.

179

Как-то вместе с группой туристов я совершал поход из Эгера в Пассау через Богемский лес. Мне было тогда восемнадцать лет, никогда мне не забыть, как нам было хорошо. Ночью мы спали в палатках или прямо у костра. По вечерам кто-нибудь читал вслух. Купались в Арберзее, в самое пекло поднимались на Оссер. Потом целую неделю лил дождь, но нам он ничуть не мешал. Однажды ночью штормовой ветер сорвал нашу палатку и мы в кромешной тьме под проливным дождем собирали разбросанные вещи и снова ставили палатку.

180

Ночью, часа в три, меня разбудил дежурный. Мы, члены комитета, спали на полу в канцелярии. Алекс — он как раз дежурил — сказал, что меня

вызывает полковник. Бывший кабинет начальника тюрьмы был освещен восемью свечами. Рядом с полковником сидело еще несколько офицеров. Перед ними — главный надзиратель, маленький, толстенький с невыразительной физиономией и круглой спиной.

Полковник, человек уже пожилой, с умным лицом, спросил его, верит ли он в бога. Надзиратель ответил, что верит. А верил ли он в бога, когда избивал заключенных, спросил полковник. Надзиратель ответил: «Нет». Полковника интересовало, каким образом надзиратель совмещал веру в бога с избиением беззащитных заключенных. Потом он спросил, что читал надзиратель. Тот ответил, что вообще-то он читал. А что именно? Надзиратель не смог назвать ни одной книги. А знает ли он какие-нибудь произведения Гёте или Бюхнера? Вроде бы не очень. Тогда полковник спросил, как же так получается, что представитель народа поэтов и мыслителей не имеет представления ни о Гёте, ни о Рильке, ни вообще о немецких поэтах?

По лицу главного надзирателя я видел, что он уже ничего не понимает в этом мире. Вот сидит перед ним большевик, олицетворение варварского Востока, и спрашивает его, прусского тюремного чиновника, о Гёте, спрашивает о поэтах, которых такие немцы, как он, в большинстве своем презирали.

Потом полковник спросил, какую бы роль поручил я этому надзирателю в моей пьесе. Я ответил: «Рамоли». При этом я хорошо понимал, что надзирателю никогда не понять, к чему такой допрос. И уж никак не понять те требования, которые чужестранный офицер предъявлял к образованию немецкого чиновника.

Уметь забыть среди всех мыслей
те, что надо —
большое искусство.

181

Начиналось обычно так. На развалинах какого-нибудь замка собирались студенты. Играла музыка. Выступали ораторы. Под конец зажигали костер. Разгораясь все ярче, он освещал разноцветные шеренги поющих студентов. Вспыхивали тысячи факелов. Шествие трогалось.

Вслед за знаменем университета и оркестром вышагивали члены студенческого правления. За ними следовали покачивающиеся шары лысин, сверкающие при красноватом свете факелов очки — то были приглашенные доценты. И только после них шли



студенческие корпорации, за ними «дикари» в штатском и в самом конце — еврейская корпорация студентов. Змея горящих факелов тянулась бесконечно.

Потом взвивались знамена, мгновенно вырастал лес черно-бело-красных стягов, военных, прусских, младогерманских штандартов с орденами и вымпелов со свастикой. Всюду смеющиеся лица...

Наш Б. решил однажды всех удивить. В университете он выпросил старинное черно-красно-золотое знамя 1848 года. Впервые его было решено показать как раз во время такого ночного шествия. Вокруг старинного республиканского знамени сгруппировалась небольшая кучка студентов, полных решимости защищать его, но это была очень небольшая кучка по сравнению с огромной массой националистически настроенных студентов.

Тысяча лиц застыла от удивления, когда развернули тяжелое знамя и оно засверкало шелком. Студенты указывали на него, возмущались, по рядам пробежал ропот недовольства. Очень скоро выяснилось, что это старинное республиканское знамя 1848 года охраняет лишь небольшая группка.

Б. дал знак трогаться. Грянул оркестр, колонна двинулась. Под звуки тысячеголосого хора огненная змея медленно поползла с горы. То был «цвет нации». То шагала «молодость Германии», как о том только что возвестил толстенький, с налившимся кровью лицом ректор.

— Вы родились, чтобы стать грядущими фюрерами народа. Да взвейся пламя!..

В передних рядах раздались крики, там требовали убрать черно-красно-золотое знамя. Постепенно крики слились в общий рев.

— Долой черно-красную горчицу!

— Сорвите тряпку!

— Выше черно-бело-красное знамя!

— Долой!

Вот уже полетели камни, ветки, факелы.

Красноватые отблески факелов освещали ма-

ленькую группку смельчаков, молча шагавших со старинным знаменем.

Казалось, все шествие горит. Шипела смола, знамена плескались.

Впервые после 1848 года черно-красно-золотое знамя развевалось над шествием германского студенчества.

Несколько студентов-евреев прибежало через лес. Они тоже сгрудились вокруг старинного знамени. Посыпались оскорбления. Кое-кто отвечал вызовом на дуэль. Раздался хохот. С евреями — не дерутся! Тщетно они пытались раздавать направо и налево свои визитные карточки. Послышался звук пощечин. Снова полетели камни, ветки, сыпались искры... адский гвалт!

Но вот все шествие спустилось в долину Рейна. Знамена свернули. Кое-где еще раздавались бранные выкрики, но постепенно все утихло. Флаги убраны, это главное. На переполненных пароходах вся эта масса молодых людей едет вниз по реке. Гремит музыка, мигают разноцветные фонарики, плещутся вымпелы, снова вокруг смеющиеся лица. К утру все это воодушевление растечется по домам, а потом... Потом наступит тяжелое похмелье.

182

Я приучил себя мгновенно проглатывать пищу. В камере нас было больше сорока человек и среди них больные всеми болезнями. Для мытья сорока с лишним мисок в нашем распоряжении имелось лишь одно грязное ведро, до половины наполненное холодной водой. После того как вымоют первый десяток мисок, в ведре оставалась только грязная жижа. Выход был один — как можно скорей проглатывать свою порцию, чтобы первым ополоснуть миску. В тюрьме надо торопиться, здесь ты вечно как затравленный зверь.

183

Зимним вечером я спускаюсь с гор к Рейну. Еще лежит старый, мокрый снег. В долине то тут,

то там виднеются темные прогалины — здесь снег уже стаял. Передо мной черная и недвижимая стена леса, черно и небо над ней. Никогда не видел я так низко нависшего неба, такого тяжелого и такого пустого! В лицо дует холодный ветер с эйфельских гор. Чувство ужасающей потерянности, безнадежного одиночества, безутешного горя охватывает меня. И вдруг я слышу лай. По нему определяю, что собака — за надежным забором. Лай равномерный, ленивый, настоящий ночной лай. Собака не раздражена, не агрессивна, она просто подает голос, чтобы не чувствовать себя чересчур уж одиноко. Этот собачий зов далеко разносится по горам, и мне делается чуть легче: снег понемногу белеет, небо поднимается, лес становится светлей, а ветер не таким уж холодным — ведь лает собака, друг затерявшегося в этом мире человека, в мире, которому нет равного.

184

Комитетчики поручили мне лазарет. Там все было разгромлено, всюду валялось битое стекло. Мы убрали, потом разложили лекарства, и я обошел все корпуса, отыскивая больных. И действительно, в темных углах я обнаружил всеми забытых, стонущих людей и тут же велел перенести их в лазарет. Скоро у меня набралось около восьмидесяти больных: дистрофия, запущенный туберкулез, общий упадок сил. Пришлось мобилизовать все свои знания, накопленные еще на медицинских семинарах в Боннском университете и за долгое время заточения, когда мне приходилось быть и санитаром. Собрав нескольких здоровых заключенных, когда-то обучавшихся на курсах санитаров и умевших делать перевязки, я назначил часы приема.

Какой это был неописуемый ужас! Мужчины, весившие сорок, а то и тридцать три килограмма, ослепшие, умирающие от голода, в паническом страхе громившие все вокруг, люди, чьи спины и головы были разъедены гноящейся экземой! Ни один из них до сих пор не получал никакой меди-

цинской помощи, и все они, голодные, валялись в грязи и холоде. Теперь же кто-то заботился о них, выслушивал, пытался помочь. Я работал, стиснув зубы, с утра до ночи. О, эти лихорадочные, исполненные благодарности голодные глаза на изможденных лицах! Но на восемьдесят больных, тридцати из которых грозила смерть, необходимо было много лекарств. И мы попросили русского коменданта разрешить нам реквизировать лекарства в городе.

В солнечный, хотя и прохладный апрельский день я вышел с красноармейцем из тюрьмы. В одной из разбитых городских аптек мы застали хозяина. Преодолев первый испуг, он под расписку выдал нам все необходимое, как только понял, что мы ничем ему не угрожаем.

С этим драгоценным грузом я отправился в обратный путь. Солдат, человек еще совсем молодой и, дожно быть, любивший посмеяться, закурил две сигареты и одну из них сунул мне в рот.

А я шагал как во сне. Нацистское наваждение сгинуло! Город был расчищен. В руках у меня — лекарства. И там, за тюремной стеной, лежали люди, которые при фашистах были бы обречены на смерть. Теперь они будут жить.

185

Как часто в два или три часа ночи мне звонила С.— голос низкий, тихий, зовущий. А я устало отмалчивался. Телефонный аппарат висел в коридоре, и соседи могли слышать наш разговор, поэтому, стоя в темноте, я отвечал изредка, шепотом, а она говорила: «Ну приходи, приходи же...» И столько призывного было в этом далеком голосе, шепчущем мне на ухо в темном холодном коридоре, что в конце концов я отвечал: «Иду». А у нее уже были приготовлены бутерброды, всюду стояли цветы, очень много цветов. Горели свечи. Она просила меня откупорить бутылку вина, ставила кубинскую пластинку, и мы пили. Я курил трубку, мы смотрели друг на друга. Глаза у нее были большие и темные. «Сядь сюда, на кушетку»,—

просила она очень тихо, и я садился на кушетку, и оба мы дрожали и целовались, и иногда я думал о том, что тело это сегодня вечером видели на сцене тысячи людей. В тихих звуках «Болеро» Равеля было что-то горькое и сладкое. Во всем убранстве комнаты чувствовалась женская рука, запах цветов смешивался с запахами сцены и духов. Потом мы откупоривали вторую бутылку вина. Тело ее было узким, упругим, натренированным в танце.

186

Настал наконец день, когда мы впервые покинули тюрьму без сопровождения. Нас было трое политических, члены комитета: Франц-пекарь, Пауль и я. Мы просто решили пройтись. Шаг наш был легким, пружинистым, на ногах у нас были мягкие кожаные ботинки, наши ботинки! Костюмы хорошо сидели — легкие и сухие, а не тяжелые и влажные, как тюремная одежда. При каждом шаге я ощущал прикосновение полотняной рубашки. Все мы хорошо выспались, были чисто выбриты и умыты. И самое удивительное заключалось в том, что мы совсем не знали, куда идти. После многих лет сна надо было восстановить способность к маленьким решениям, которые ежедневно принимает человек. И еще — никто не шагал позади нас. И потом — время! Необозримое море времени!

Остановиться? Пожалуйста!

Подойти к витрине? Почему бы нет!

И я проделывал все это, однако настороженно прислушиваясь — не последует ли окрик? Но окрика не последовало.

Мы зашли в писчебумажный магазинчик. И получилось так, что я первым пошел к выходу. Но перед тем как выйти, я невольно остановился, должно быть выжидая, пока надзиратель отопрет дверь. Только несколько мгновений спустя я сообразил, что вообще-то человек сам открывает перед собой дверь.

Какое это наслаждение — открывать самому дверь!

187

Он сказал:

— Well, вот заметка в восемь строк и статья — в сто. Из восьми строк сделайте шестьдесят, из ста — двадцать. Я вернусь через полчаса.— И вышел.

Я сидел в большой репортерской неподалеку от Бруклинского моста. Вокруг репортеры без пиджаков стучали на машинках, дымили, переговаривались. Это было большое полутемное помещение, в котором кое-где светились зеленые абажуры, тарахтели пищущие машинки. Полчаса спустя босс, посмотрев мою работу, сказал: «Well, завтра в десять утра. Двадцать пять долларов в неделю. О'кей!» И вышел. Так я стал репортером в Нью-Йорке. Гоняли меня во все концы. Прошла неделя, и босс, маленький, седенький, ворчливый и добродушный человек, сказал мне: «Сегодня к двадцати четырем часам восемьдесят строк о конгрессе изобретателей». «А где он заседает, этот конгресс?» — спросил я. «Я думал, что вы репортер»,— ответил босс, и я поспешил ретироваться. Странный это был конгресс: дикий, грубый и гениальный. Большая гостиница была вся набита какими-то аппаратами, приспособлениями. Сенсацией оказалась подводная лодка на двух человек. Свою заметку я озаглавил: «Подводная лодка на Таймс-сквер». Боссу это понравилось. С того дня мне доверили еженедельный обзор городских новостей, удвоивший мой гонорар. Успех немалый.

188

В комитет зашел Рене, очень тихий француз, блондин, и пригласил меня на ужин. Я не был с ним знаком, но он сразу понравился мне. Около семи вечера я отправился в главный корпус и отыскал камеру номер сто пятьдесят шесть. Дверь стояла настежь, и оттуда распространялся изумительный запах. Рене и Франсуа встретили меня с торжественной куртуазностью, ошеломившей меня. Камера привратилась в нечто похожее на

драгоценную шкатулку. На столе было постлано полотенце. Сначала подали бульон, потом — бифштекс с луком. Мы церемонно угощали друг друга, мы плавали в блаженстве. Это было мое первое жаркое после многолетнего перерыва. Но еще больше мне понравилась какая-то сдержанная элегантность и сердечность молодых французов, их чистые лица. Потом мы закурили.

Невольно я задумался над невероятностью происходящего: в этой камере, где заключенные годами голодали, мы ели жаркое, курили, будто в отеле «Риц» в Париже. Всего два дня назад трое горемык влачили здесь жалкое существование, сейчас же нас в открытую дверь приветствовали другие заключенные, прогуливавшиеся по этажу,— итальянцы, голландцы, баварцы, норвежцы, испанцы, вестфальцы, они тоже курили, смеялись и... ждали.

189

Прака Росио в Лиссабоне выложена мозаикой — эдакими причудливыми змеевидными линиями. Помню, я сидел перед кафетерием под темно-синим небосводом, курил свою трубку и никак не мог оторваться от этих линий. Словно ленивые пресмыкающиеся извивались тут на площади под стеклянно-синим иберийским небом, и тысячи любопытных глаз были устремлены на них. Маленькие поджарые лиссабонцы лениво шагали по ним, а мне было не по себе, я все боялся, как бы эти светящиеся чудовища не ринулись в одном каком-нибудь направлении.

И я поспешил уйти.

190

В последний день мне сообщили, что один больной все-таки умер. И его сразу же закопали рядом с мусорной кучей. Я велел выкопать останки, сколотить в столярной гроб, вырыть для покойника могилу в дальнем тихом уголке тюремного двора. Мы сделали и надпись на дощечке — и все так добротно, как и на воле не сделаешь. Мы на-

писали: «Здесь покоится последняя жертва нацистского рейха в Лукау».

Похороны были очень торжественными. Тысяча человек стояла у гроба, а мы, члены комитета, говорили о смерти в тюрьме и о жизни. Потом тысячаголосый хор запел; «Смело, товарищи, в ногу...» В первый раз они пели вместе, мощные звуки отражались от стен темницы. Так в тюрьме еще никого не хоронили; все пели с истинным чувством людей, многое выстрадавших, выстоявших и ныне спасенных. Под конец тысячи рук бросили в могилу по горсти земли.

Каждому человеку суждено пережить свою
Голгофу,
И всем нам хорошо знакомы друзья, спавшие
в Гефсиманском саду.



191

В Асунсьоне причудливо смешались самые разные представители рода человеческого. Там и хозяева страны, шумные, важные и элегантные креолы, истые горожане, прогуливающиеся по улицам, и робкие индейцы, тихо и покорно продающие фрукты, и метисы, и японцы, и рослые широкоплечие европейцы, победоносно восседающие в тени перед кафетериями.

Все здесь напоминает большой город, но я уже успел приметить, что сра-

зу же за последними домами начинается дикий край, джунгли, а город этот — лишь на скорую руку возведенное временное поселение. И горожанам приходится трудиться не покладая рук, а то как бы джунгли снова не поглотили их жилье и оно не утонуло бы в девственных лесах.

Но сейчас на улице еще дребезжал трамвай, потягивались, зевая в полуденном зное, шоферы такси, а после полудня по главной улице фланировали дико раскрашенные сеньориты.

В этом городе европеец вполне мог бы существовать, но я-то хорошо знал, что загадки континента ожидают тебя сразу же за городской чертой, там, где в жару объезжают лошадей, где индейцы племени тупи-гуарани из лука стреляют рыбу, там где грохочет Игуасу, где в нестерпимом пекле тянутся необозримые плантации каучука.

192

Нас, политических заключенных, вызвал капитан Советской Армии и предложил стать бургомистрами в окрестных общинах.

Мы взглянули друг на друга и согласились. Мне поручили сразу четыре большие деревни по соседству, выдали удостоверение, красную нарукавную повязку, и я вместе с несколькими товарищами отправился в подсобное хозяйство тюрьмы, расположенное на территории одной из порученных мне деревень. Отбывая заключение, я проработал там более года. Мы сразу же принялись все расчищать, убирать, согнали разбежавшийся скот, стали регулярно кормить его, наняли сельскохозяйственных рабочих из беженцев, начали распахивать поля. В общем, налаживали хозяйство, как могли. Май стоял изумительный! Все мы были исполнены веры и жили надеждой, что построим новый мир.

Трудились и жили мы по законам человеческого товарищества. Цвела сирень, после работы мы собирались во дворе, пели, коровы сыто мычали, и был тогда объявлен мир, как мы слышали, и очень скоро наступило лето.

193

Анатомичка в Бухе. Журчит вода. А. только что вскрыл брюшную полость пожилого мужчины, желудок которого, круглый, как футбольный мяч, оказался наполненным водкой. Позвонив в больницу, мы навели справки и узнали, что это старый бродяга, накануне пришедший к ним в больницу умирать. Последним его желанием была водка! Сестру куда-то вызвали, и, когда она вернулась, бутылка, которую она поставила на столик, была пуста, а старик мирно отошел. Все помещение анатомички пропахло водкой. Я смотрел на лицо старика. Это было мертвое лицо, мудрое и пьяное — хорошее лицо! Мы обнаружили у старика прогрессирующий атеросклероз и огромные каверны.

194

Когда я впервые, уже как бургомистр, пришел в одну из моих деревень, там царила абсолютная тишина. Я обошел дворы — пусто. Я крикнул — ответа не последовало. Деревня была большая, красивая, старая, с длинной главной улицей.

Мои поиски продолжались довольно долго, в конце концов я пришел к выводу, что я здесь единственный живой человек. Не было слышно даже лая собаки, и только где-то в уголке около риги копошилось несколько кур. Никогда не чувствовал я себя таким одиноким, как в этой оставленной всеми деревне, где я пытался созвать крестьян. Их звало новое время, а они еще не покончили со старым. Должно быть, прятались в лесах. Неожиданно раздался выстрел, разорвалось несколько снарядов, а где-то вдали затрещал пулемет. Здесь еще шла война. Я поспешил уйти. Сюда я пришел слишком рано.

195

С тех пор как я покинул берега Рейна, я тоскую по нему. Это моя родина — Опладен, Бонн, старый Кёльн. Рейнские горы, узенькие улицы,

узкогрудые дома с зелеными ставнями и поблескивающими черепичными крышами, певучий говор, песенки, которые звучат с утра и до вечера. Хитрость там сочетается с юмором, а глубокомыслие не сопровождается обидчивостью. Люди там живые, любят выпить, посмеяться и исправно трудятся среди запахов картофельных оладий, ладана, яблочного сока и химии. Там и любят по-другому, свежее, более открыто и более испорченно и не так трудно, как здесь. Забывчивы они на Рейне, да и нельзя на них положиться, но они так смеются, так умеют смеяться, что сердце твое подпрыгивает при одном воспоминании об этом здесь, в ледяном подвале, где ты и открыл, что любишь свой рейнский край с его за́мками, виноградниками, фабриками, церквами, его добротой, старинными песнями, болтливостью и юмором, с его готическими традициями. Рейн Бетховена, Гёте, Бюхнера, Шелера — древняя земля по берегам великой европейской реки, которую ты переплывал и которую любишь так, как любят родину. Нигде колокольный звон не кажется таким прекрасным, как в тени соборов, мимо которых сейчас спешат люди, снуют туда-сюда, старательно пихают друг друга, смеются и торгуются, бранятся и шепчутся, попрошайничают и греховодничают, и болтают без умолку, покуда ты размышляешь здесь, в подземелье. И говорят они о том, о чем говорят повсюду, но говорят иначе, по-рейнски, друзья, по-рейнски.

196

Я приехал на велосипеде в самую большую из моих подопечных деревень и спросил бургомистра. Он сидел в своей конторе вместе с двумя другими крестьянами — трое грузных большеруких мужиков.

— День добрый.

Ничего не понимая, они рассматривали меня. Я стоял перед ними в промокшей от дождя одежде, с красной повязкой на рукаве. Тогда я достал свидетельство, выписанное мне военным комен-

дантом и удостоверявшее, что я являюсь вновь назначенным бургомистром.

Нацистский бургомистр долго и внимательно изучал свидетельство, затем выложил на стол связку ключей и груду печатей. Это был крупный мужчина с заплывшими глазками. Я спросил, есть ли в деревне антифашисты. Они назвали мне несколько имен. Я велел позвать их. Потом на официальном бланке написал объявление, приглашавшее жителей деревни собраться вечером перед Домом охотника. А когда явились антифашисты, я назначил двоих, лица которых мне показались искренними, моими помощниками.

В семь вечера перед Домом охотника собралось не менее тысячи человек, и я с крыльца произнес свою первую речь. Потом собравшиеся избрали шесть человек в правление общины.

На следующий же день мы составили команды из жителей, одни подбирали и хоронили трупы, другие налаживали работу мельницы, сгоняли разбежавшийся скот, а павший закапывали, расчищали улицы и ремонтировали школу. Все это происходило третьего мая, и крестьяне были явно довольны: жизнь налаживалась.

197

В последний раз мы были у нее незадолго до нашего ареста. Жила она тогда вместе с несколькими родственниками — одинокими евреями, в одной из перенаселенных квартир в западной части Берлина. Она все еще работала старшей сестрой в еврейском госпитале и каждый день проделывала до него довольно далекий путь пешком; пользоваться общественным транспортом им всем было запрещено — они ведь носили желтую звезду! Внешне она выглядела превосходно: импозантная пожилая дама, решительная, умная! Это был человек большого ума, сердца и обаяния. Но мне никогда не забыть странных недомолвок во время нашей беседы за чашкой кофе. Обычная серебряная сахарница уже не стояла на столе — ее реквизировали, приемник и книги — тоже. Черная тень

еврейской смерти время от времени ложилась на стол, сервированный для кофе. Нескольких знакомых недавно «забрали», кое-кто и сам наложил на себя руки.

А с какой любовью говорила она о своей красивой дочери, жившей тогда в Нью-Йорке, с каким величием, трагическим величием покачала головой, когда мы предложили ей скрыться.

— Как-то не вяжется это со всей моей жизнью,— ответила она.— Я прожила ее открыто и не хочу на старости лет где-то прятаться.

При этом она очень побледнела, и сразу стало заметно, что она часто и много плакала, скрывая это ото всех. Я обратил внимание на то, что ее седые волосы сильно поредели. Это был удивительный человек. Мы покинули её дом, исполненные чувства глубочайшего уважения.

Когда я по истечении всех этих лет вернулся в Берлин, то застал в этой квартире чужих людей. Позднее мне стало известно, что сюда явились немцы, арестовали ее и бросили в газовую камеру в Освенциме.

198

Наконец-то у нас в деревне появился врач, бывший военный, документы у него были в порядке. Принимал он в основном женщин. Прошло несколько дней, и я обратил внимание на его несколько странную речь. То он не понял какого-то обычного среди медиков латинского выражения, то сказал «дуфтерия» вместо «дифтерия».

Я вызвал его к себе и напрямик заявил, что до меня дошли сведения, будто он вовсе не врач. И где, собственно, он учился? Он ответил, что в Боннском университете. Как раз в те же годы я посещал несколько семестров медицинский факультет. Я спросил его, кто тогда вел анатомию? Профессор Фишер, ответил он. Я хорошо помнил, что на самом деле нашего анатома звали Соботта. А кто читал психологию? Он не знал, но я-то хорошо помнил, что Эббеке. Когда он сдавал экзамены? И какие дисциплины он изучал на первых пяти семестрах? Он ответил — «хирургию» и «об-

щую медицину». Но я попросил его вспомнить лучше. Он настаивал на своем. Тогда я объявил ему, что он мошенник. Он побледнел. Посмотрев его бумажник и не обнаружив в нем ничего подозрительного, я собирался уже вернуть его, как вдруг пальцы мои нащупали в потайном отделении какую-то бумагу. Это был приказ командира штурмового отряда собраться в лесосеке 11. Тогда я приказал арестовать «врача» по подозрению в причастности к «Вервольфу».

В те дни вокруг горели леса. В дождь пожары утихали, но вскоре синий дым снова поднимался над лесами.

То был дым «Вервольфа».

199

Обыкновенная домашняя хозяйка — фрау Берндт. «А, бросьте вы, Гитлер, он своего добьется. Сами видите, все страны уступают ему. Значит, силен!» — сказала она мне, шмякнула тряпку об пол и снова принялась мыть. Это была грубоватая, добродушная женщина с хорошо упитанным лицом, выражающим теплосердечную пустоту и старательность; мыслить она была способна только в пределах своей семьи. А за этими пределами — Северный полюс, белые пятна, вера. Однако сколько их, этих светлых, добрых женских лиц с морщинами забот, глубокими складками горя, выражением бледной доброжелательной глупости, сколько их, этих широкобедрых матерей в фартуках, с прилежными руками, которые так ловко умеют чистить, стирать, шить, варить — всех этих домашних хозяек, принадлежащих к мелкой буржуазии! Но как мало пройдет времени, и черный маг, в которого они так верили, высосет из этих лиц все светлое, доброе, старательное, всю их храбрость! И лица эти станут остренькими, несчастными, худенькими, еще более озабоченными, еще более ничего не понимающими.

А фрау Берндт, у которой сейчас есть муж, два сына и уютная квартира, фрау Берндт придется еще поплакать. Квартирку ее разбомбят, старшего

сына убьют, младший пропадет без вести, а муженек-фольксштурмовец в последний день войны умрет в десяти метрах от родного порога. А ведь она самая обыкновенная, старательная женщина, эта фрау Берндт, таким несть числа в нашей стране.

200

Сколько лет подряд я голодал, и как голодал! Трясся над ложечкой похлебки, жрал картофельные очистки. А теперь я стал бургомистром, всегда сыт, и они подводят к моим дверям корову и спрашивают, можно ли ее зарезать.

Я смотрел на эту корову — корова как корова, черно-рыжая, спокойная, большая. И в тот миг, когда я ответил: «Режьте», меня захлестнули воспоминания о нашем нестерпимом, постоянно мучившем нас голоде. При самом пылком воображении мы не могли бы себе представить, что нам отдадут на съедение целую корову. А теперь эти немыслимые мечты превратились в реальную действительность, но ведь действительность иной раз куда больше походит на мечту! И все произошло так быстро в этой действительности, было так непривычно, а мечтой мы жили долгие дни и месяцы. Легко сменить костюм, но не мечту, которую вынашивал годы, мечту о свободе.

*Чем меньше человек ощущает самого себя,
тем он счастливей.
Чем больше он думает о других,
тем меньше он ощущает самого себя.*

201

Мы переходили улицу наискосок, я вел ее под руку, мы шагали в ногу и видели, как полетели камни. У нас на глазах была разбита огромная витрина, и теперь от нее остались лишь серо-зеленые кучки осколков. В тот раз это был галантерейный магазин, и восковые дамы и господа по-прежнему приветливо улыбались своими застывшими улыбками.

— Ради бога, уйдем отсюда! — просила она.

— Нет. Я хочу все это видеть своими глазами и вспоминать всякий раз, когда почувствую, что сдаю.



— Ты прав,— кивнула она, и мы затесались в толпу, празднично освещенную сильными лампами витрины. Несколько парней в сапогах, с венским произношением, сорвали с восковых дам манто и, гогоча, швырнули их в толпу, где сразу началась свалка. Со всех сторон до нас доносились звуки разбиваемого стекла, треск ломаемого дерева. А парни срывали с восковых господ костюмы и швыряли их в публику. Первые мародеры из толпы уже перелезли через витрину в магазин, где лежали рулоны шелка, и вытаскивали их оттуда еще чуть воровато, оглядываясь, но уже и с наглостью распоясавшихся антисемитов.

Когда мы уходили, на усыпанной осколками мостовой лежали, будто родные сестры, восковые дамы, бесстыдно и розово поблескивая при ярком свете витрин. Одна из них уставилась вверх, и на лице ее так и застыла размалеванная длинноресничная улыбка, которой она зазывала нерешительных покупателей в магазин.

Издали доносился ор, гвалт, крики, сыпалось битое стекло, на мостовую выбрасывали мебель, люди куда-то бежали, кто-то звал на помощь. По улицам медленно расползался дым — это горели подожженные синагоги.

— С сегодняшнего дня,— сказал я,— любые средства борьбы против этих людей справедливы.

— Да,— ответила она.— С сегодняшнего дня мне стыдно за то, что я немка, если эти люди тоже немцы.

Эти люди потом повесили ее в Плётцензее.

202

На облепленном со всех сторон людьми паровозе я ехал домой, в Берлин. Три года я не был там. Костюм на мне был разорван, внешне я одичал, внутренне изменился, но я был жив. Наша хорошенькая квартира-мастерская на Виттенбергплац уже не существовала. Никто не знал, где моя жена. Растерянный, бродил я по улицам, кто-то дал мне велосипед, и я поехал в Потсдам, где когда-то жила сестра моей жены. В Потсдаме я обра-

тил внимание на молодую женщину, ехавшую тоже на велосипеде впереди меня. Что-то заставило меня посигналить. Женщина обернулась: лицо бледное, строгое. Она! Велосипед ее полетел налево, мой — направо, и мы вдруг очутились... на небе. А когда небо взвилось ввысь, то вокруг стояли люди и смеялись.

Гестапо разлучило нас, судьба свела вновь. Это походило на концовку плохого романа. И в то же время это было начало. Очень серьезное начало.

203

Непостижимо: молодой мужчина и молодая женщина ложатся вместе, и рождается будущее, дом, увитый розами, новые люди, возникшие из нас двоих,— широкий, исчезающий в дальней дымке путь в неведомые времена, быть может в год двухтысячный. Но и тогда люди, родившиеся от нас, будут покупать шляпы, грызть яблоки.

И людям этим не будет никакого дела до двух пылинок, которые когда-то развеял ветер, ибо ветер вечен. Они будут ступать по земле, в трех метрах над нами, будут смотреть, как падают звезды, плакать и смеяться. В двухтысячном году пылинок этих будет больше. И все мы снова сольемся воедино. Мы же одна семья.

Невероятно сладко думать за двоих: в этом и страх, и страсть собственника, и радость жизни, и память о ночах, наполненных ужасом. Ты ощущаешь гордую силу своего мозга, его смеющуюся мощь, но подозреваешь и что-то жалкое, дурно пахнущее, плохие расчеты, физически смешные вещи, однако радость жизни, будто золотое облако, проносится над долиной слез всяческого природного несовершенства. И в конце концов ты уясняешь себе: резкие повороты, настроения, прыжки одиночки миновали, теперь уже ты прыгаешь вдвоем, а это посложней, и когда ты начнешь прыгать уже втроем, то и думать ты уже будешь медленней.

Семья создается не в постели. Электрический заряд вдруг поразил наши нервные узлы, и в наших глазах перевернулась всемирная история. Мужчина, мчавшийся из вечера в вечер под надутыми парусами, готовый одолеть самого черта, с легким сердцем срывавший розы над столь многими заборами, резкий и жестокий в борьбе, этот мужчина вдруг делается мягок. В рискованных приключениях на него уже нельзя положиться, он говорит, что дома его ждут жена и ребенок, и уходит. А вслед ему несется удрученный смех.

Но он прав. Приключения — для молодых, дабы мир не успокаивался. Он стал мягок и широк, этот мужчина, жестокость его превратилась в благоволение, ненависть — в одобрение. Шея его делается толще, спина — круглей. И на сгладившемся лице его можно прочитать озабоченность. Увидев себя на какой-нибудь старой фотографии эдаким отчаянным малым, он громко смеется от смущения.

У женщин все иначе. Женщина с самого начала больше предназначена для семьи, взгляните на ее грудь, подумайте, о чем она думает, а жировой слой у нее под кожей? Доброта и соучастие в ее глазах? Разумеется, женщины неописуемы. В них можно заблудиться, в этих плотских щебечущих джунглях, но у всех у них одно общее — томительно-мечтательная потребность в семье.

И это не только в наше время, взгляните на почерневшие находки Помпеи, прочтите седовласого Геродота, вспомните «Калевалу», озаренную сполохами северных сияний,— это исторически-биологическая аксиома, перед которой мы склоняем головы.

Мы лишь две волны в пронизанном птичьим гомоном потоке времени. И, сливаясь воедино, мы неудержимо скользим все дальше, в будущее, таинственно приоткрывающее глаза, навстречу нашим светлым внукам, которые еще и не ждут нас, но которые спят в нас незримыми зародышами — еще не пробудившийся мир внуков, и мы уже сегодня носим его в себе.

Едем на машине. Поворачиваем в тупик, в конце которого высится мощный портал тюрьмы Шпандау. Мрачное, тяжелое здание из кирпича. Миновав ворота, оставив позади многочисленные решетки,— с каким грохотом они закрываются за тобой! — мы наконец добираемся до огромного гулкого главного корпуса, высотой в четыре этажа. Перед нами открывают камеры на первом этаже по правую руку. Их двенадцать, и через несколько дней в них поселятся военные преступники, их привезут из Нюрнберга.

Я прошу открыть камеру номер 136, в которой много лет назад провел несколько месяцев. Она пуста. Ледяным, каким-то мрачным холодом тянет нам навстречу. Тот же самый холод, что и тогда. И царит в ней тот же блеклый сумрак. Это все та же камера, в которой я когда-то дрожал, надеялся и мучился. А на этом древнем, грязном, исцарапанном столе я клеил пакеты. Через эти стены я перестукивался со своими соседями. Здесь я откидывал волчок. В это оконце я смотрел на березу, которая там, на тюремном дворе, листик за листиком сбрасывала свой осенний убор... Я сражен этими воспоминаниями и под конец нахожу даже календарь, который тогда нацарапал на стене. Каждая черточка — длинный-предлинный день. А всего — четыре столбика, и каждый — месяц, и над ними справа от окованной железом двери корявыми буквами нацарапано: «Здесь ожидал военного суда Г. В.».

Мы снова выходим в коридор, в мрачный и жуткий коридор, в котором мы тогда каждое утро выстраивались на перекличку — минута эта в Шпандау всегда волновала нас. На полутемном этаже снуют без конца орущие надзиратели, перед открытыми дверями своих камер стоят тридцать шесть человек, бледные, молчаливые и неподвижные. Я и сейчас вижу всех, кого ныне нет уже среди нас. Тридцать из тридцати шести, все они очень скоро потом отдали свою жизнь в Плётцензее — отважные, свободолюбивые немцы, ничем не

запятнавшие себя. Вот передо мной светловолосый гордый скульптор Курт Шумахер, и такой красивый, спокойный Вальтер Хуземан, неподалеку стоял молодой врач Ион Риттмайстер, бледный, одухотворенный, напротив него — Курт Штрелов, молодой и светловолосый студент, который по вечерам, после того как гасили свет, задумчиво насвистывал песенки. Наискосок от него стоял высокий и такой спокойный Адольф Гримме, ныне он министр культов, а рядом с ним юный студент Хорст Хайльман, слева от меня — д-р Филипп Шеффер, справа — долговязый Отто Хольпов, семнадцати лет. Его осудили на шесть лет каторжной тюрьмы за государственную измену, а потом он попал в штрафной батальон во Франции и до сих пор не вернулся оттуда. Вон и открытое лицо дантиста доктора Химпеля тускло светится на той стороне. Все они стояли здесь — бледная, молчаливая фаланга, сражавшаяся за свободу и ушедшая с великим мужеством и самопожертвованием в века. Какое горе, что нет теперь среди нас этих людей, таких одаренных, героических пленников гестапо, которое тогда реквизировало тюрьму Шпандау, так как главная его штаб-квартира была переполнена.

Слабое утешение, что теперь в эти камеры поступят те люди, которые столь дурно говорили и еще хуже поступали и по приказу которых были умерщвлены наши товарищи. Мерзнуть так, как мы, они не будут, да и от голода им не придется страдать. Не будут с ними так бесчеловечно обращаться, как обращались с нами. Их не будут избивать, как избивали нас. Перед величием этой перемены неуместны никакие чувства мести. Что они заслужили, то пусть и получат, в пределах человеческих пусть торжествует справедливость. Таково наше мнение. Наши погибшие товарищи нам слишком дороги, чтобы думать о мести.

Нас повели на один из тех печальных и безымянных тюремных дворов, которые окружены стеной высотой шесть метров и где стоят несколько голых ноябрьских деревьев. Заключенные вытоптали здесь тропинку, бегущую по кругу. На ней

запечатлены и наши следы. Следы тридцати шести. Сейчас в них набежала дождевая вода. А я слышу окрик надзирателя: «Левой, два, три... Дистанция три метра! Голову выше, у кого она еще на плечах!»

В приемной тюрьмы, где гестаповцы впервые надели на меня наручники, последние заключенные, осужденные берлинским судом, грузят мебель. Приближаются офицеры союзных армий. Сегодня тюрьма Шпандау передается Контрольному Совету.

Меня всегда удивляет,
что у нас такие же лица,
как были у людей три тысячи лет назад,
хотя эти годы принесли с собой
столько ненависти и столько страданий.

Г. ВАЙЗЕНБОРН

МЕМОРИАЛ

Редактор И. Млечина
Художник Р. Вардзигулянц
Художественный редактор А. Купцов
Технический редактор Н. Попова
Корректор Р. Прицкер

Сдано в производство 28/IX 1972 г.
Подписано к печати 3/I 1973 г.
Бумага $84 \times 100^1/_{32}$. $3^1/_4$ бум. л.
10,92 печ. л.
Уч.-изд. л. 8,32. Изд. № 13874
Цена 45 коп. Зак. № 542

Издательство «Прогресс»
Государственного комитета Совета
Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Отпечатано в ордена Трудового Красного
Знамени Ленинградской типографии
№ 2 имени Евгении Соколовой
«Союзполиграфпрома»
при Государственном комитете Совета
Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
г. Ленинград, Л-52, Измайловский
проспект, 29, с матриц ордена Трудового
Красного Знамени Первой Образцовой
типографии имени А. А. Жданова
«Союзполиграфпрома»
при Государственном комитете Совета
Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
Москва, М-54, Валовая, 28

ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ПРОГРЕСС»
ВЫПУЩЕНО

РЕМАРК, Эрих Мария. **Тени в раю.** Роман. Пер. с нем.

«Тени в раю» — последний роман Э. М. Ремарка. Он логически завершает серию книг о немецкой антифашистской «одиссее», этапы которой проходят через Париж («Триумфальная арка»), Лиссабон («Ночь в Лиссабоне») и Соединенные Штаты. Ремарк описывает суровые, порой кошмарные будни немецкой эмиграции в этой стране «великих возможностей». Герой романа Роберт Росс — журналист, бежавший от преследования нацистов. Росс принадлежит к тем людям «без роду, без племени», которых «не любят, но терпят». Он становится эмигрантом в эмиграции, и ему удается остаться едва ли не единственным человеком в этом призрачном «царстве теней».

Социально-публицистический пафос, глубокий психологизм, лаконичная и четкая обрисовка персонажей как социальных типов, блеск диалогов и страстный лиризм авторского монолога ставят роман в ряд лучших произведений Э. М. Ремарка.

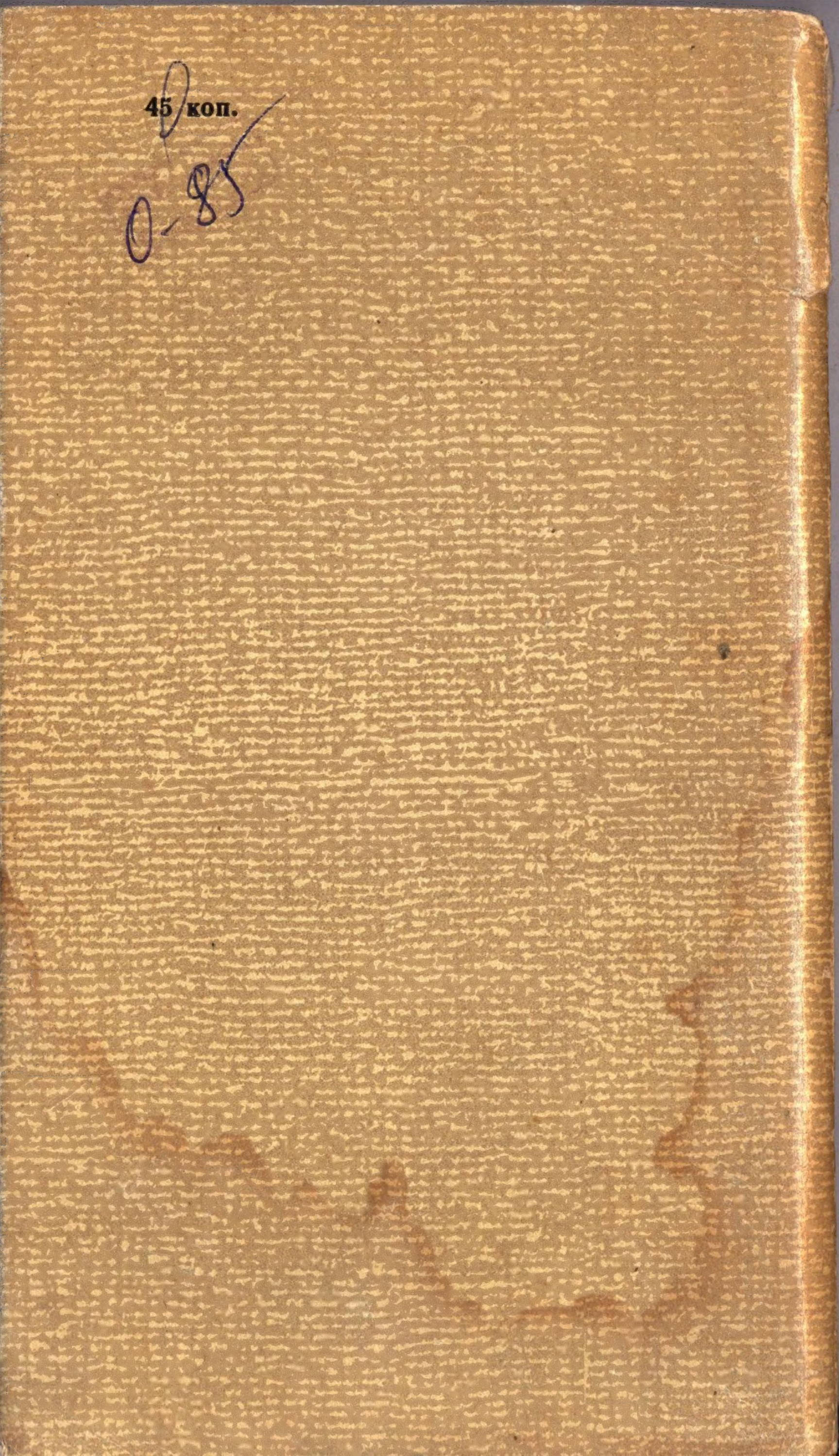
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ПРОГРЕСС»
ВЫПУЩЕНО

ЭГПАРС, Альбер. **Час правды.** Роман. пер. с франц.

Альбер Эгпарс — известный бельгийский прозаик, поэт и критик, пишущий на французском языке. «Час правды» — одно из наиболее популярных его произведений.

Действие романа происходит в провинциальном городке Кагоре, в семье банкира де Сульяка. Автор рассказывает о том, как мир денежных интересов, всепоглощающая страсть к наживе способны погубить в человеке даже родительские чувства, заставляют идти на предательство и обман по отношению к детям. И для Филиппа, сына банкира, наступает «час правды» — правды о своих родителях.

Тонкий психолог, А. Эгпарс с большим мастерством описывает душевные переживания своего героя, держа читателя в постоянном напряжении.


45 коп.
0-85